



Алексей Петрович Самойлов
Единственная игра, в которую стоит
играть. Книга не только о спорте (сборник)

Текст предоставлен правообладателем
Единственная игра, в которую стоит играть. Книга не только о спорте: Гуманитарная
Академия; Санкт-Петербург; 2014
ISBN 978-5-93762-113-9

Аннотация

В новую книгу петербургского писателя и журналиста Алексея Самойлова вошли мемуарные очерки, литературные портреты, эссе о людях игры. Среди героев книги, со многими из которых автора связывало многолетнее знакомство, – король футбола Пеле, шахматные монархи Михаил Таль и Борис Спасский, лучший хоккеист всех времен Всеволод Бобров, гениальный баскетболист Александр Белов, великие тренеры Владимир Кондрашин и Вячеслав Платонов, легендарные актеры Николай Симонов и Иннокентий Смоктуновский, классики русской литературы XX века Василий Аксенов, Андрей Битов, Иосиф Бродский, Юрий Трифонов, замечательные ученые Александр Зайцев, Дмитрий Лихачев, Мераб Мамардашвили и другие.

Издание снабжено уникальными фотографиями из семейного архива автора.

Содержание

Любовь и свобода	6
Часть I. Сон об Эдсоне	9
Сон об Эдсоне[2]	9
СССР – Бразилия	9
Футбол и Победа	10
Король, артист, бог...	11
Пеле как миф	11
Не только за талант...	12
Против всякой логики	13
Он был на матче «Зенита» с «Динамо»!..	14
Первый дубль, или как это было на «Раздане»	15
Перед своим незапятнанным голом	21
Боброву равных не было и нет	25
Рациональный романтик	30
Бесков, победитель англичан	30
Красота и результат	30
Понимание игры	31
Режиссер футбольного театра	32
Таланты с подрезанными крыльями	32
В немецком пивном ресторане...	33
Он ушел с обидой	33
Гений во всем	35
1. Небесный вратарь. Реквием по Талю	35
2. Душа моя – только человеческая	37
3. В Ригу к Талю. Десять лет спустя	40
Превзошедший самого себя	45
Сокрушительные удары	45
Часть речи	46
Не для бокса родившийся	47
«А как у вас с величием души?»	49
Бой в Риме	50
Самопожертвование	53
Петрозаводск, январь 65#го	53
Волейбольный диссидент?	54
Ленинград, лето 77#го	55
Родственные души	56
Жизнь на электрическом стуле	57
Петрович	59
1. Это просто фантастика!	59
Задание Пинчука	59
Объяснение в любви с нотой печали	59
Судьба тренера и судьба города	60
Кондрашин был мрачнее тучи	61
Как Петрович расписывал «пулю»	62
Его сокровенное желание	62
Предательство и месть	64

Спор с Пинчуком о шахматных чемпионах	65
Удержал корабль на плаву	66
2. Тренерская натурфилософия	67
В восьмой день августа	67
Инцидент в топографическом училище	68
На берегу Сямозера	69
Хитрован Хитрованыч	70
Легенда о трех секундах	70
Высшая справедливость игры	71
Начинал он с футбола	71
Торжество кондрашинского баскетбола	72
3. Репортаж для Юры Кондрашина	73
Муки любви	75
1. Белые панамки на темной воде	75
Записки бывшего мальчика	75
Детский дом в селе Коршаки	75
«Вас спасут рыбий жир и вера»	76
Влюбился в белую королеву	77
Провалился, как сквозь землю	77
Сталинград Элема Климова	78
«А тебя бомбили?»	79
2. У нас во дворе	79
3. Часть нашей жизни	80
Петрозаводск, Астрахань, Москва	80
История болезни	80
Часть нашей жизни	81
Быть или не быть человечеству?	82
Беспримесная радость	82
О муках любви.	83
4. «Химик, глотай химикалий ртом!»	84
Невольник чести	91
Артист	91
Не в старости дело	92
Игра при свете совести	92
Шаховский Пушкин	93
Медонский затворник	95
Скованные одной цепью	96
Воспоминания о литве	98
1. Два раунда с Шоцикасом	98
Конец ознакомительного фрагмента.	101

Алексей Самойлов

Единственная игра, в которую стоит играть. Книга не только о спорте

© А. П. Самойлов, 2014

© Издательский Центр «Гуманитарная Академия», 2014

* * *

Одно я знаю: меня тянет рассказывать. Рассказывать – моему, единственная игра, в которую стоит играть.

Федерико Феллини

Если подумать спокойно, невозможно побороть в себе любовь ко всему безвозвратно ушедшему.

Кэнко-хоси

Любовь и свобода

Вступление

Когда в октябрьский полдень 1968 года на Олимпийских играх в Мехико темнокожий американец Боб Бимон совершил сверхдальний прыжок в длину – 8 метров 90 сантиметров, к нему подбежал товарищ по команде Ральф Бостон, чей мировой рекорд он сокрушил, и закричал: «Man, it's impossible!» («Человек, это невозможно!»¹).

Истинные свершения человеческого духа осуществляются на пути от возможного к невозможному. «К невозможному летят наши души» – писал Андрей Платонов, чьи слова были путеводными для кинорежиссера Элема Климова, называвшего спорт формулой гармонии. Гармонии в ее универсальном, эллинском смысле: в рождении олимпийского агона (состязания на языке древних греков) участвовали поэты, музыканты, философы.

Спорт из всех сфер человеческой деятельности для меня ближе всего к философии и искусству. Мераб Мамардашвили называл философию осколком разбитого зеркала универсальной гармонии, попавшим в глаз или в душу. «Попал осколок, и сразу человек смотрит иначе. Иначе смотреть – это значит видеть не предметы, а гармонию. И ты видишь, потому что ты приведен в движение невозможностью возможной гармонии».

Художник, если это истинный творец, всегда ставит перед собой задачи, превышающие его возможности, находящиеся за пределами человеческих сил. И в спорте атлет стремится преодолеть непреодолимое, прорваться к себе новому. Как и в искусстве, человек приводится здесь в движение невозможностью возможной гармонии. В этом смысле спорт – опыт невозможного. Этот попавший в душу осколок разбитого зеркала гармонии есть, по Мамардашвили, иносказание страсти свободы.

У свободы есть и другие синонимы – жизнь, игра, любовь.

*Любовь и свобода –
Вот всё, что мне надо!
Любовь ценою смерти я
Добыть готов,
За вольность я пожертвую
Тобой, любовь!*

Шестьдесят лет назад я, восьмиклассник петрозаводской школы, выписал в читательский дневник это стихотворение Шандора Петефи, погибшего в середине девятнадцатого века за свободу Венгрии. Этот дневник я вел по совету нашего словесника, директора школы Александра Сергеевича Александрова, писал об «Избранном» Петефи, «Студентах» Юрия Трифонова, повестях Веры Пановой. В школьном литературном кружке делал доклад о Гоголе; с 1947 года, когда мама подарила мне на одиннадцатилетие громадный фолиант Гоголя, я не расставался с ним; обмирал от ужаса, читая «Вия», разыгрывал перед бабушкой «Ревизора»; обиделся смертельно на Оню Ивановну Лапину, режиссера драматической студии Дворца пионеров, за то, что назначила меня играть Артемия Филипповича Землянику, попечителя богоугодных заведений, а не Ивана Александровича Хлестакова; в «Мертвых душах» многое знал наизусть, любимыми персонажами были Собакевич и слуга Чичикова Петрушка, которому было все равно что читать – похождения ли влюбленного героя, букварь, молитвенник или химию. Молитвенника в доме не водилось, зато были сталин-

¹ Встречался мне и другой перевод: «Чувак, это невозможно!»

ские «Вопросы ленинизма», «Агрохимия» академика Прянишникова и четыре тома «Войны и мира». Все это я перемолол еще до Гоголя. Бабушка называла меня «читарем» и гнала во двор поиграть с ребятами: «Не то все бока отлежишь, лежень...»

Когда я открыл для себя Андрея Платонова, то нашел у него это слово – «лежень», и даже задумал книжку путевой прозы «Лежень. Записки перелетного человека». По складу ума я созерцатель, лежебока-читарь, совсем как Петрушка, не перестающий удивляться тому, что из букв вечно выходит какое-нибудь слово, которое иной раз черт знает что и значит. А по натуре и по профессии путник, путешественник, артист, игрок, любознательный сверх меры Алеша-почемучка из книжки Бориса Житкова. Почемучку легко превратить в читаря – дайте ему книжку с картинками и положитесь на его природную любознательность. Так и со мной родители поступили, подсунув тома Брема, и когда отец уходил на войну с белофиннами, он поднял меня с ковра вместе с бремовскими птицами, потрепал по волосам и ушел. Я так и не выпустил книгу из рук... Отца больше я не видел. Главный агроном Наркомзема Карелии, он командовал артиллерийской батареей и погиб в Приладожье...

Начинал я учиться читать по Брему в конце тридцать девятого, а выучился по сводкам Совинформбюро в сорок первом, в Астрахани, куда нас эвакуировали из Петрозаводска. ЦК Компартии Карело-Финской ССР, где работала мать, переехал из столицы республики на север, в прифронтовой Беломорск. Она была, как и отец, агрономом, заведовала в ЦК отделом сельского хозяйства, после войны работала заместителем председателя Совета министров республики, в январе 1951#го была избрана секретарем ЦК КП(б). Характеристика на Малютину Нину Ивановну, хранящаяся в секторе учета кадров Государственного архива Республики Карелия, подписана вторым секретарем ЦК Ю. В. Андроповым. Мама и Юрий Владимирович учились на заочном отделении Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б) и обменивались конспектами по истории Великой французской революции.

Кто из них законспектировал главы по якобинской диктатуре – не помню. Мама говорила, что Юрию Владимировичу нравился Робеспьер. А вот игры с мячом, особенно футбол, в нашем большом дворе между Закаменским переулком и Парком пионеров (ныне Губернаторский сад), Андропову были не по душе. Направляясь на работу, он однажды остановил меня, грязного, с рассеченным лбом, мчавшегося домой зализать раны и снова биться до глубокой ночи с ремеслухой: «Я слышал, как ты по радио “Бородино” читал. Молодец, хвалю. А вот скажи, неужели тебе доставляет удовольствие месить грязь и бить по тяжелому мокрому мячу головой?» Я торопился домой, но заверил мамино сослуживца, что мне нравится играть в мяч не меньше, чем читать книжки, и что наш сосед по дому на Герцена, 10, Вольдемар Матвеевич (В. М. Виролайнен был тогда предсовмина Карелии) играет в футбол, как настоящий мастер... Андропов только вздохнул и пошел с поднятым воротником своего длинного габардинового пальто в главное учреждение Петрозаводска на площади Ленина.

Вольдемара Матвеевича Виролайнена и первого секретаря ЦК Геннадия Николаевича Куприянова в 1950 году исключили из партии, освободили от работы, арестовали и посадили – и до Карелии докатилось эхо «ленинградского дела». Через полтора года после расправы над руководством Карелии, учиненной Маленковым с одобрения хозяина Кремля, Андропова и Малютину было решено перевести в ЦК ВКП(б). В Москву, однако, мы не переехали: у мамы, никогда ничем не болевшей, даже не простужавшейся, при углубленном медицинском обследовании в Кремлевской больнице обнаружили язву желудка, прооперировали, после чего она еще поработала недолго и снова попала в Кремлевку, где ее разрезали и увидели обширные метастазы... Умерла она 14 ноября 1952 года, не дожив двенадцати дней до сорока лет.

Ее болезненный, вечно простужавшийся сослуживец, наш сосед по дому счастливо избежал тюрьмы, сумы, ранней смерти и стал одним из советских вождей. Будучи послом СССР в Венгрии, Андропов сыграл не последнюю роль в событиях осени 1956-го, когда наследники Петефи подняли в Будапеште восстание за свободу и независимость своей родины, народное восстание, беспощадно подавленное советскими войсками.

*За вольность я пожертвую
Тобой, любовь!*

Через полвека расправу тоталитарной карательной машины с защитниками вольности и прав назвали бы принуждением к миру. Или принуждением к свободе.

Вообще-то «принудить человека – значит лишить его свободы». Утверждавший это сэр Исайя Берлин, философ и историк, родился в начале прошлого века в Риге, прожил революцию в Петрограде и умер в Лондоне на излете двадцатого столетия, которое он называл худшим из известных. Само слово «свобода», отмечает Берлин, настолько рыхло, что подлежит любой интерпретации.

«Свобода и равенство – первичные цели, к которым веками стремились люди, но абсолютная свобода для волков – это смерть для овец, – говорится в эссе Исайи Берлина “Два понимания свободы”. – Полная свобода для сильных и одаренных несовместима с тем правом на достойное существование, которое имеют слабые и менее способные... Равенство может ограничить свободу тех, кто стремится властвовать. Свободу (а без нее нет выбора и, значит, нет возможности остаться людьми) – да, саму свободу иногда надо ограничить, чтобы накормить голодных, одеть неодетых и приютить бездомных; чтобы не посягать на свободу других; чтобы осуществлять справедливость».

Выбирая между свободой и справедливостью, свободой и равенством, свободой и экономической эффективностью, свободой и любовью, человек неизбежно жертвует одной высокой ценностью ради другой, не менее высокой и гуманной. Всегда ли оправданы, всегда ли необходимы эти жертвы? Надо ли жертвовать любовью ради вольности?.. Моря крови пролиты в нашей бескрайней и беспощадной стране, а много ли свободы и любви прибавилось на продуваемых ледяными ветрами, плохо обустроенных для человеческой жизни территориях?..

Неужели это недостижимо, невозможно? Но ведь к невозможному летят наши души! «Только любящий знает о невозможном, – слышим мы голос Андрея Платонова, – и только он смертельно хочет этого невозможного и делает его возможным, какие бы пути ни вели к нему».

Только любящий, только свободный человек способен сделать невозможное возможным.

2011

Часть I. Сон об Эдсоне

*Жизнь подобна игрищам. Иные приходят на них состязаться,
иные торговаться, а счастливые – смотреть.
Пифагор Самосский*

Сон об Эдсоне²

СССР – Бразилия

Сорок лет назад, летом 1965 года, мне приснился сон, который оказался в руку, вернее, с учетом его содержания, в ногу.

Снилось мне – недели за две до матча СССР – Бразилия в Москве, куда я собирался из Петрозаводска с заездом в Ленинград, – что Пеле летает, как диковинная птица над лужниковским газоном, а мяч, привязанный невидимой ниткой к его бутсам, порхает над ногами-косами противника и залетает в наши ворота – и раз, и два, и три...

Проснулся я потрясенный и огорченный. Потрясенный полетным бегом короля футбола и огорченный тремя сухими голами, пропущенными советской сборной.

Остановка в Ленинграде дорого мне обошлась, мы отмечали чей-то день рождения, потом продолжили; «свирепей дружбы в мире нет любви», а мы недавно расстались после университета, распределились кто куда – от Петрозаводска до Камчатки и пользовались любой оказией для утоления свирепости дружбы, хотя бы поездкой в столицу на матч, который ни один футбольный сладкоежка не мог пропустить.

Пришлось, однако, пропустить: дружба с ее неизбежными, особенно в молодости, податями-возлияниями свирепей даже любви к футболу.

Матч наших с бразильцами в Москве (еще в студенчестве в пятьдесят восьмом в доме нашего товарища Бори Грищенко на проспекте Маклина мы провели свой, параллельный шведскому, чемпионат мира по пуговичному настольному футболу, в финале «бразильцы» выиграли у СССР 5:3), тем не менее мы по «ящику» посмотрели. Меня подняли на смех, когда за час до трансляции я рассказал сон про три сухих бразильских гола, а после того, как все окончилось наяву, как во сне, едва не побили...

Это был мой третий вещий сон. Два предыдущих носили политическую окраску. В первом, еще школьных лет, меня, петрозаводского девятиклассника, вызвали в Кремль, где Хрущев и Маленков держали совет, как им поступить с врагом народа Берией (это было за месяц до сообщений о разоблачении Берии). Во втором, студенческой поры (на пятом курсе жил я в общежитии ЛГУ на Мытнинской, а в соседней за стеной комнате грызли гранит науки двое китайских аспирантов, накатавших на нас «телегу» в партком за буйное ночное пение и неуважительное отношение к великому кормчему), наши братья обиделись на нас в государственном масштабе и сосредоточили тьму тьмущую войск на китайско-советской границе: до редакционной статьи в «Правде», где советские коммунисты отвергали обвинения китайских товарищей в ревизионизме, и до боев на острове Даманский было еще жить и жить...

Политические сны – черно-белые, с преобладанием черного, цвета большого тупорылого бьюика, на нем из своего белого особняка на Вспольном переулке, неподалеку от Садо-

² Эдсон Арантес ду Насименту известен всему миру как король футбола Пеле.

вого кольца и площади Маяковского, выезжал на работу Берия. В августе пятьдесят второго, приехав в Москву на чемпионат мира по волейболу и остановившись у родственников на Вспольном, я ежеутренне наблюдал Берию в салоне бьюика, по переулку обе машины, его персональная и сопровождения, двигались медленно, а уже свернув на улицу Алексея Толстого, резко прибавляли ходу.

Футбол и Победа

Спортивный, бразильский сон – цветной: малахитовый, как колер газона, синий, как небо над стадионом, и шоколадный, кофейный, как окрас кожи короля игры. Эти цвета рвались под куполом сна гирляндами артиллерийского салюта – первый в жизни салют в честь очередной победы нашей армии я увидел в Москве летом сорок четвертого, когда мы возвращались из астраханской эвакуации в освобожденный Петрозаводск.

Восьмилетними, еще в войну, мы пошли в школу; на следующий год, в мае страна одержала в той войне победу, а в ноябре московское «Динамо» совершило триумфальную поездку на родину футбола, победив клубы Англии, Шотландии, Уэльса с общим счетом 19:9. Эти несопоставимые по значению события накрепко соединились в нашем сознании, футбол и Победа зарифмовались в сердцах недоигравшего свои детские игры поколения, как кровь и любовь; чудотворцы футбола, не только отечественные, для нас освещены и освящены вечным огнем победы над всемирным злом – и кумиры детства и отрочества Бобров, Бесков, Хомич, и кумиры юности Стрельцов и Пеле.

Пеле, тогда еще просто Эдсон (полное имя короля Эдсон Арантес ду Насименту), в восемь лет, в возрасте, когда мы с тетраджами и букварем в противогазных сумках пошли в школу, уже давал первые спектакли с мячом, собирая вокруг себя взрослых, восхищавшихся кунштюками, трюками, коленцами малолетнего шкета с осанкой, сразу видно, любимца богов.

«Сразу видно» – просто фигура речи. Надо быть Константином Бесковым, трезвым всевидцем и на «поляне», и в тренировочных лагерях, чтобы сразу увидеть и громадный дар Эдика Стрельцова, Валеры Воронина, и божью поступь Пеле. Своих Бесков в Москве высмотрел, бразильца в Швеции, на мировом чемпионате пятьдесят восьмого, куда его командировали в составе просмотрной комиссии Федерации футбола СССР. И когда он поехал на матч соперников нашей сборной по подгруппе Бразилия – Австрия и увидел бразильскую команду (Пеле в той первой игре не выходил, но звезд у них хватало), то, вернувшись в гостиницу, сказал своему соседу по номеру, журналисту Льву Филатову: «Вот увидите, чемпионом мира станет Бразилия».

Все это Константин Иванович рассказывал мне 2 мая 2002 года в пивном немецком ресторане, в нескольких шагах от своего дома и от памятника Маяковскому на Триумфальной площади, откуда доносился из динамиков голос судьи-информатора: как заведено в Москве, в этот день на площади стартовали и финишировали участники традиционной эстафеты по улицам столицы. Через месяц в Японии начинался чемпионат мира, и я уговорил патриарха отечественного футбола поделиться соображениями о предстоящих баталиях и о природе таланта игрока.

«Вот для Пеле, – сказал я, исподлобья поглядывая на мешавших течению нашей беседы молодых пивников, протягивающих знаменитому тренеру и центрфорварду 500-рублевые казначейские билеты для автографов, – для Пеле превыше всего в футболе понимание игры».

«Пеле, говоришь», – сказал патриарх с интонацией красноармейца Сухова и жестом Игоря Кио, своего старинного приятеля, достал из кармана куртки бордовое портмоне, откуда извлек три фотографии – жены, дочери и Пеле; король и патриарх, лучезарно улыба-

ясь друг другу, были сняты на приеме в бразильском посольстве во время последнего визита короля в Москву.

Король, артист, бог...

Гармония, явленная во плоти фотографического снимка, сопровождалась пояснениями знатока, уставшего просвещать профанов.

– Нужно сочетание определенных, доведенных до высокого уровня технических навыков, физических кондиций и тактического мастерства – если правильно мыслишь на поле, это труда не составит. Я согласен с Пеле: интеллект, ум – самое важное и дорогое в игре. Все игроки, которые выделяются, обладают высоким интеллектом. Выше всех по пониманию игры был, конечно, Пеле.

– Еще бы, – поддакнул интервьюер, – король футбола.

– Я предпочитаю другое определение: Пеле – выдающийся артист футбола. Он исключительно эффективно действовал перед чужими воротами – мог и организовать атаку, и забить гол. Пеле потряс меня в Швеции: то, что делал этот семнадцатилетний мальчишка в самых разнообразных игровых ситуациях, было бесподобно. Обыкновенному игроку, даже владеющему виртуозной техникой, этого никогда и ни за что не сделать.

А признававшийся лучшим футболистом СССР, защитник сборной страны Евгений Ловчев сказал мне в марте девяносто четвертого:

– Футболисты делятся на три группы. В первой Пеле – недостижимая вершина. Во второй – Беккенбауэр, Платини, Марадона, Кройфф и, конечно, Анатолич, наш Стрельцов. В третьей – все мы, остальные.

Самые талантливые бразильцы, пришедшие на смену трехкратному чемпиону мира, чувствуют фальшь, когда их сравнивают с Пеле. «Его футбол недостижим, – сказал талантливейший Ривалдо, в недавнем прошлом игрок “Барселоны” и сборной Бразилии. – Мы все – лишь маленькие, беспомощные, глупые дети, которые только пытаются понять то, что для Пеле было очевидным на поле. Пеле – не футболист, Пеле – бог. Зачем тревожить бога своими земными проблемами?..»

Но не все молятся на Пеле. Помнится, лет десять назад некий аналитик, сравнив в журнальной статье Пеле с другими суперзвездами по тринадцати позициям (видение поля, сила и точность удара, скорость бега и т. д. и т. п.), пришел к выводу, что по совокупности качеств Пеле многим уступает, что король далек от совершенства и вообще чуть ли не дутая величина...

И, знаете, аналитик-буквалист с его поползновениями измерить гармонию в чем-то важном прав. Пеле – воистину величина **дутая**. Его выдули-выдумали, вымечтали, вымолили у неба все поклоняющиеся футболу. Однажды он приснился человечеству и навсегда осел в золотой клетке его дрем, снов.

Пеле как миф

«Двадцатый век принес игру – футбол». И сон об Эдсоне принес. Этот сон – всепроникающий миф двадцатого столетия.

Случайно, конечно, но весьма показательно сопряжение в одной полувечерней-полуночной телепрограмме (Первый канал, 10 марта с. г.) двух передач на давным-давно замышленную автором тему – «Вещих снов» и документального фильма Би-би-си «Пеле».

Я посмотрел фильм англичан, обретший сновидческую подкладку стараниями визионеров Первого канала (четырьмя днями раньше также в ночи аудитория Первого галлюцинировала вместе с Ренатой Литвиновой и критиками-толкователями снов ее новой картины

«Богиня»), и попытался более-менее рационально истолковать мистику странных сближений в реальной, а не виртуальной жизни.

Психоаналитики в фильме «Вещие сны» утверждали, что в сновидениях бессознательное посылает сигналы сознательному миру. А как, скажите на милость, миру сознания принять и расшифровать сигналы из темных глубин иррационального, кто или что сыграет роль шлюза-переходника между пучиной хаоса и упорядоченностью космоса (по-гречески «космос» – порядок)?

Миф, только миф. По Юнгу, это естественная и незаменимая промежуточная ступень между бессознательным и сознательным мышлением. «Миф – это вечное зеркало, в котором мы видим самих себя», – пишет в «Параллельной мифологии» английский ученый Джон Френсис Бирлайн.

Потребность в творении новых мифов – той же природы, что фантазия, воображение, игра. С новой силой она овладела человечеством, явив сон об Эдсоне, миф о Пеле, в век кинематографа (Александр Блок называл его «электрическими снами наяву»), футбола и телевидения, объединивших живущих на земле любовью к игре и сетью коммуникаций в одну вселенскую деревню.

Пеле – первый парень на деревне величиной с земной шар.

Миф всегда конкретен. Обожествляется, повсесердно и повсеградно утверждается особь редчайшего природного таланта; поражают воображение не количественные параметры ее производственной деятельности: 1200–1300 забитых голов и 130 хет-триков за карьеру (в конце концов количественное в творчестве может быть истолковано по-разному), а невероятная легкость творимого, творимого в условиях жесточайшего, костоломного противоборства (если бы Пеле оберегали судьбы, как сегодняшних звезд, говорит в английской картине соратник Пеле по сборной и клубу «Сантос» Пепе, он запросто наколотил бы 2500 голов). Самое поразительное, что у этого голеодора, помимо гола, есть и сверхзадача на поле, которую можно только языком поэзии выразить: «Чтоб прирожденную неловкость / Врожденным ритмом одолеть!»

Пеле – величайший поэт футбола. Как говорил итальянский кинорежиссер Пьер Паоло Пазолини: «В тот момент, когда Пеле овладевал мячом, футбол превращался в поэзию».

Гений, производное человеческой славы, напоминает нам и о нашем прирожденном несовершенстве, и о возможности одолеть его таящимися в наших глубинах способностями. На всемирном плебисците славы мы голосуем за Наполеона, Пушкина, Пеле и, представьте себе, каждый из нас – за себя любимого, который и сотой доли ему отпущенного не реализовал, недолюбил, недоиграл. Ничего, Пеле, Стрельцов, Пушкеш, Платини за нас доиграют, флаг им в руки, нами, между прочим, врученный флаг, хорошо, что нынешние «звезды» и «звездочки» это осознают и благодарят прижатыми к сердцу ладонями рукоплещущие трибуны стадионов-святилищ.

Не только за талант...

Можно написать культурологический, социологический трактат о том, почему именно Пеле мир принял и вознес на недостижимую высоту. Прежде всего, само собой, за талант невиданной красоты и силы. Но не только за талант. Тут столько всего сошлось... И то, что он был из «третьего мира»; чемпионов из противостоящих друг другу стран-гегемонов лагерей-блоков остальной мир, скудно живущий и с опаской поглядывающий на двух грозно рычащих медведей в одной берлоге, недолюбливал. И то, что у маленького трюкача, родившегося с мячом под мышкой, были плохие зубы, глисты, весь букет полуголодного детства обитателей бразильских трущоб: это начало жизни Эдсона держали в уме все перебивающиеся с хлеба на квас и с маиса на подсахаренную водичку и тогда, когда он начал

грести деньги лопатой, и тогда, когда дважды разорялся, пускаясь в финансовые аферы, и теперь, когда вышел на сегодняшний 20-миллионный, в долларовом исчислении, ежегодный уровень доходов. И то, что он чернокожий, а в те времена (начало второй половины прошлого века) в сборной Бразилии был лимит на людей не с белым цветом кожи, а в ведущих бразильских клубах потомки африканских рабов присыпали лица пудрой, «обеляя» себя, и Пеле, доказавший, что расовая принадлежность никак не влияет на талант и успех, что в конечном и единственно правильном смысле «есть только одна раса – человечество», сделал для борьбы с апартеидом и ксенофобией не меньше, чем Мартин Лютер Кинг и Нельсон Мандела.

Против всякой логики

Можно привести еще с десяток причин, объясняющих, почему Эдсон Арантес ду Насименту был избран человечеством на роль Пеле, главного героя главного, на мой взгляд, мифа двадцатого столетия. Мифа о божественной сущности человека-гения, способного насытить зрелищами-хлебами ненасытное, вечно ропщущее на несправедливость земного устройства человечество, мифа о пожизненном воздаянии нам за труды праведные, за аскезу подвижнического спортивного самоистязания (в спорте непреложно правило: как потопашешь, так и полопашешь) – Пеле тут был рыцарем без страха и упрека, за что его многие и по сию пору недолюбливают, особенно в наших палестинах, где в чести разгульные, бесшабашно-безбашенные нарушители всех канонов, правил и законов.

Игре, любой, не обязательно футболу, свойственен азарт. Всякий игрок в нашем представлении – азартный Парамоша. Но азартный Парамоша только тогда у ковра, когда он нарушает каноны. Игре невозможно обойтись без их нарушения, без алогичности. Режим-щикаскет, не нюхавший спиртного, правильный зануда тренировочных буден, Пеле оборачивался на поле мистификатором, великим комбинатором, клоуном, превращавшим в посмешище противную сторону. Как не согласиться с магистром игры, литературной, джазовой, футбольной, аргентинцем Хулио Кортасаром, что лучшие голы Пеле забил против всякой логики.

Алогичность – тоже строительный материал мифа. Смертельно надоедает жить в расчисленном мире, где 2×2 всегда 4, а во сне, по свидетельству изощреннейшего русского сновидца, писателя Алексея Ремизова, пространство со своей геометрией и тригонометрией летит к черту и тебе кажется, что 2×2 будет 5, из сна о себе и о другом узнаешь такое, о чем и не подозревал.

Чего такого, о чем и не подозревал, узнал я из показанного после визионерской «Богини» и «Вещих снов» фильма англичан о Пеле?

Кое-какие новые для себя факты, хотя давно собираю материалы для книги о Пеле. Толчком к ее написанию стал месяц, проведенный на родине короля, в далекой солнечной Бразилии, восхитительной стране, хотя и уступающей Вообразилии моих детских дрем, октябрь месяц 1990 года, когда вся бразильская нация отмечала круглосуточно (по крайней мере на телеэкране) 50-летний юбилей самого знаменитого бразильца; днем я по долгу службы пресс-атташе мужской сборной СССР на чемпионате мира по волейболу и корреспондента газеты «Известия» смотрел руками творимую игру, а утром, вечером и ночью лицезрел короля во всех ипостасях: сыщика-детектива в сериалах, певца, гитариста и, конечно, футбольного мага – и бывшего, и нынешнего, он жонглировал мячом бесподобно, готовясь сыграть за сборную мира в Италии в матче, посвященном его юбилею...

Кое-чего, действительно, о Пеле до фильма англичан я не знал, благодарен за просвещение. Но сказать, что «и не подозревал», не могу. Содержательный фильм англичан снят как воспоминание о прошлом, без учета того, что миф о Пеле живет всех живых, включая

и самого Пеле, jovиального мужчины, жизнелюба неполных шестидесяти пяти лет, рекламирующего по всему миру кофе, кредитные карточки и виагру. Фильм одномерен, одномоментен, он весь в прошлом, а Пеле развернут в трех временах: в мифе прошлое вместе с будущим проявляются в настоящем.

По телику и в кинотеатрах такие фильмы-мифы не показывают. Их увидишь разве что во сне.

Он был на матче «Зенита» с «Динамо»!..

При желании сон можно запрограммировать. Захотел, скажем, сыграть в футбол с Пеле. Думай об этом денно и ночью несколько лет подряд и однажды увидишь себя и Пеле в одной команде. И если не будешь бараном, вовремя откроешься, сыграешь с королем в стеночку, услышишь его приятного тембра баритон: «Обригадо, чел!» (что в вольном переводе с португальского означает: «Большое спасибо, коллега!»), и увидишь, как король одним слитным движением перебрасывает мяч через защитников, догоняет его в полете, перекидывает через выбежавшего навстречу голкипера, вносит мяч на подъеме ноги в ворота и виснет на сетке, белозубо скалясь...

На кого только не насмотрелся я в своих снах – и на ушедших, и на живых; с одним шахматным чемпионом, жившим в районе Вспольного переуллка, наблюдал с балкона траурную процессию – сам герой, слава Богу, и по сей день пребывает в добром здравии, стоял на балконе рядом со мной и объяснял, что это его везут сейчас на Ваганьковское...

Чаще чем кого-либо последние сорок семь лет (от шведского чемпионата мира-58 считая) вижу во сне Пеле. Недавно, уже после литвиновской «Богини» и английской документальной ленты, Пеле ворвался в раздевалку на «Петровском». Там мыкало горе только что позорно продувшее «Зениту» мое португальско-московское «Динамо». Там грозный Бесков распекал за бездарность португальцев, наследников колунов, покалечивших короля на английском чемпионате мира шестьдесят шестого – после Англии короля хоронили все, кто раньше возносил: мол, он потяжелел, ослеп и вообще спекся... А король восстал из пепла и после финального матча мирового первенства с итальянцами в Мехико, через четыре года после Англии, выигранного им и примкнувшими к нему остальными бразильцами, ворвался в свою раздевалку и трижды прокричал, как сейчас под трибунами «Петровского»: «Я не умер! Я не умер! Я не умер!»

И никогда не умрет. Мифы бессмертны, как душа, как мечты, как сны.

2005

Первый дубль, или как это было на «Раздане»

Цель моей командировки – написать для журнала «Аврора» очерк о Ереванском научно-исследовательском институте математических машин. Когда я говорю об этом в ЦК комсомола Армении, в редакции молодежной газеты «Авангард», в самом институте, на Совете молодых ученых республики, наконец своему другу, молодому писателю Григору, все безусловно одобряют мой выбор.

– Прекрасно – это самый молодой институт... Интересно – они работают над машинами четвертого поколения, представляете!.. Очень правильно – у них восемь лауреатов премии Ленинского комсомола страны... Очень и очень дальновидно – кибернетика, АСУ, АСУП.

Одобряют, хвалят, поощряют, а я настораживаюсь. С чего бы им так вдохновенно приветствовать мою скромную – одну из многих – попытку воспеть умных творцов умных машин, и какая уж тут дальновидность – в последней трети двадцатого века писать о кибернетике. Нет, тут что-то нечисто – со всеми этими похвалами, тут айсберг подтекста подводной частью величиной с Арарат, не меньше!

Еще бы один день похвал моей дальновидности в области кибернетики – и я, пожалуй, сам бы усек, что к чему, но меня лишили нечаянной радости прозрения. Открытым текстом, без всяких там айсбергов, – открытым тостом мой новый знакомый Миша, математик из Вычислительного центра Госплана Армянской ССР, провозгласил:

– За нашего гостя, ленинградского журналиста, понимающего, что самое подходящее время собирать материал для очерка об армянских математиках – это, конечно же, вторая половина октября 1973 года!

Миша намекал не на готовый к употреблению маджар, барашка в хорошей шашлычной форме и осенние плоды всех мыслимых оттенков. Маджар, барашек, виноград, персики, перцы, баклажаны, лобио, грецкие орехи – были, очевидно, того же качества в октябре 1960#го, и 1965#го, и 1971#го. Соль в том, что это октябрь 1973#го. Семьдесят третьего!

– Слушай, если забудешь лет через тридцать, в каком году к нам приезжал, то пиши просто: «Это было, когда “Арарат” сделал первый дубль». И все в Армении скажут: «Господи, вот повезло человеку – он был в Ереване 28 октября 1973 года».

Но благословенному двадцать восьмому предшествовали тревожные (тогда, в дни ожидания) двадцатое и двадцать четвертое октября.

«Наше желание исполнилось – пусть сбудется наша мечта!» – таков был крик души болельщика, безмолвный крик, увиденный всеми, потому что он плыл над толпой, текущей к стадиону «Раздан» вечером 20 октября. Чтоб все смогли понять сложное иносказание (желание – мечта), с одного края полотнища, там, где про желание, был изображен Кубок СССР, с другого края – мечта: золотая медаль чемпиона. Окончательную ясность – то, что кубок и золотые медали желают одной и той же команде, – вносил портрет Левона Иштоняна, которому на этом транспаранте рукой подать до Кубка и до медали. Собственно, кубок уже был у Левона и его товарищей в руках. А вот от золотых медалей «Арарат» отделяло такое же пространство, как и киевское «Динамо». Перед последними тремя турами лидеры набрали одинаковое количество очков, и, как утверждали в хорошо информированных кругах болельщиков, знакомых с родственниками по отцовской линии вратаря Алеши Абрамяна, «безусловно, для выявления чемпионов на придется провести дополнительную встречу между “Араратом” и “Динамо” – очевидно, в Ташкенте».

Сам Сергей Мергелян, основатель института математических машин, вице-президент Академии наук Армянской ССР, сказал на приеме, устроенном в честь делегаций братских

городов – Киева, Тбилиси, Баку, Ростова-на#Дону, соревнующихся с Ереваном в хозяйственном и культурном строительстве:

– Мы готовы поделиться с вами по-братски всем, что имеем. Всем, кроме футбольных очков.

...Мы стояли в условленном месте, метров за четыреста до входа на «Раздан», ели кебаб, завернутый в лаваш, и, в ожидании всей братии, просчитывали варианты: «Если во Львове киевляне берут два очка, а наши сегодня одно – то... если “Карпаты” останавливают Киев, а мы – Минск, то...»

У Григора постоянный пропуск в ложу прессы, но он всегда покупает билет: отчасти для того, чтобы помочь дирекции «Раздана» выполнить финансовый план, отчасти потому, что его друзья школьных лет – инженеры Мисак, Акоп, Гриша, Роберт – пропусков не имеют. А смотреть футбол одному – значит к мукам переживания за свою команду присовокуплять муки невозможности поделиться с друзьями горестями и радостями. Перенести публичное одиночество на многотысячном стадионе может только гордая, надменная, заносчивая душа. Душа болельщика не такова – она жаждет сочувствия, сострадания, понимания. Дать все это полной мерой способна только душа друга. Вот почему Григор покупает билет, прибавляя каждый раз при этом: «У меня правда есть пропуск...»

Мисак читает вслух статью в «Правде», из коей мы узнаем, что Украинский спортивный комитет поспешил освободить – сразу после финала Кубка – старшего тренера киевского «Динамо» Александра Севидова.

– Что скажешь, Мисак!

– Скажу, что и в Киеве болеют за «Арарат» – я это давно подозревал. Если бы не болели, не сняли бы тренера за три тура до конца чемпионата. За три тура! Это же нам только на руку...

– У тебя хорошее настроение, Мисак. (Все диалоги, как и призывы на транспарантах и плакатах, даются в переводах молодого армянского писателя Григора.)

Это наконец-то подошел Акоп, единственный серьезный человек в этом содружестве – женатый, сосредоточенный, в приспущенных на кончик носа очках. Сдержанного, хмуроватого Акопа точит червь сомнения – не в победе «Арарата», конечно, а в возможности когда-либо образумить своих друзей, заставить их жениться.

– Я говорю, у тебя хорошее настроение, Мисак! – голос Акопа становится еще более отеческим. – А ведь сегодня нас ждет очень тяжелая игра. Минчанам победа нужна как воздух, иначе они вылетят из высшей лиги.

– Спасибо, Акоп, за то, что ты есть. Открыл нам глаза...

– Ладно, ладно... Побереги юмор до женитьбы – тогда ты без него и дня не протянешь.

– Тебе виднее, Акоп, тебе виднее...

Толпа несет нас к стадиону. Над нашими головами пузырится на ветру полотнище с аршинными буквами: «Арарат» – команда-звезда. «Ара рат» – команда звезд». И в скобках буквочками поменьше ссылка на автора – Николай Озеров.

«Раздан» гудит. «Раздан» ест мороженое, лузгает семечки. «Раздан» оглядывает себя. Время у него для этого есть: назначенная на шесть вечера игра, как выясняется на стадионе, начнется в семь. «Раздан» оглядывает себя и не скрывает, что ему нравится и силуэт Кубка СССР (так искусно выстригли траву в центре поля), и громадная золотая медаль, свисающая с верхнего яруса, – дело рук болельщиков фольгопрокатного цеха алюминиевого завода, – и дождь бумажных лент, и желтая медаль солнца, прикрепленная к синему небу, и самая вкусная в северном полушарии ереванская вода, бьющая из питьевых фонтанчиков, и мороженое, и жареные семечки, и громокипящая музыка, и песня про побеждающий «Арарат», и всё, всё, всё нравится сегодня «Раздану». По тому что сегодня впервые после победы

в Кубке страны «Арарат» предстанет пред очи своих приверженцев. Потому что сегодня очень важная встреча, и «Раздану» предстоит поработать не меньше, чем «Арарату».

«Раздан» в этот вечер был активнее «Арарата»: команда, выложившаяся в финале Кубка и в игре с «Шахтером» в Донецке, играла исключительно на самолюбии. Минута не велика – 1:0 – до семьдесят третьей минуты. Мисак, Акоп, Григор и еще 59 997 человек притихли, как на концерте в филармонии, когда поет Гоар Гаспарян. На семьдесят третьей минуте «Арарат» перестал играть на нервах «Раздана»: Николай Казарян забил ответный гол. Через семь минут все тот же Казарян быстрее лапы, быстрее орла, настигающего зайца, промчался по левому краю и прострелил вдоль ворот. Там у дальней штанги, как и положено, караулил мяч Левон Иштоян.

«Раздан», воздев руки к черному небу, славил Иштояна. Снова Иштоян выручил, не подвел, спас, ошастливил – как и в Кубке, как еще раз и еще много-много раз.

В городском фольклоре этих дней не было героя популярнее Иштояна. Рассказывают, что мама Левона Иштояна спросила у соседей:

– Есть ли на свете человек, который бы играл в футбол лучше моего Левончика!

– Есть такой, – ответили соседи. – Зовут его Пеле и живет он в Бразилии.

– Надо же, такой хороший футболист и такой скромный! Никто о нем ничего и не слышал.

А из Бразилии, – рассказывают в Ереване, – пришли мрачные вести: король футбола Пеле страдает от величия. Ходит и всем говорит: «Я – Иштоян, я – Иштоян...»

Слушать, как говорится, не слушай, а рассказывать про Иштояна не мешай. И сочиняют венки сонетов; и несут букеты в родильный дом, где за два дня до финальной кубковой игры в Москве жена Иштояна родила дочку, – столько букетов, что милиция вынуждена регулировать поток поздравляющих; и сосед Григора ночью, когда Кубок получил ереванскую прописку, поехал к родителям Иштояна и, несмотря на проклятия отца и мольбы матери Левона дать им спокойно заснуть, славил – на правах давнего знакомого – их сына, «нашу гордость».

Что было в ту кубковую ночь в Ереване!! Кружили машины по центральной площади Еревана, заглушая ревом клаксонов хрустальное журчание музыкального фонтана. Вино лилось, как вода в фонтане. Все были друзьями, все были счастливы, все пели, а кое-кто танцевал на улицах и площадях.

Желание исполнилось – пусть сбудется мечта! В воздухе запахло дурманящим розовым ароматом дубля. Слово это, такое необычно мягкое для цепкой, колючей армянской речи, было слаще пахлав, нежнее персика и крепче «Двина». Слово это, совсем не протяжное, произносилось нараспев, и была в этой напевности и ласковость, и глубоко спрятанная тревога: а вдруг – ду-у-убль – мимо, вдруг – ду-у-убль – не удастся!!

В эти дни второй половины октября 1973 года двумя самыми употребительными словами армянского языка были – «чэ» (что значит – «нет») и «дубль» (что значит – «дубль»). Вместе они, естественно, не соединялись, хотя кой-какие опасения (вдруг – ду-у-убль!) у отдельных маловеров были.

На стенах домов, не охраняемых государством как памятники архитектуры, чьи-то руки начертали: «Симонян», «Иштоян», «Маркаров» и т. д. Под этими же именами мисимволами, с помощью зубного порошка нанесенными на футболки, ребята из Арабкира (район Еревана) вышли на принадлежащий им пустырь, менее изумрудный, чем поле «Раздана», но такой же червлено-золотой, как медаль из фольгопрокатного цеха. В Эчмиадзине, в пятидесяти метрах от храма, где шла воскресная служба, на зеленой лужайке гоняли мяч эчмиадзинские ребята. В отличие от арабкিরских «модернистов», заменивших цифры на футболках именами-символами, эчмиадзинские держались старых правил и были пронумерованы. На следующий день, в понедельник, я снова попал в царство чисел – свой институт – и в при-

емной главного конструктора ЭВМ семейства «Наири» под стеклом изучал схему стадиона «Раздан» и табличку футбольного первенства страны (высшая лига). В тот же, а может, в другой день мне показали в ЦК комсомола Армении поздравительную телеграмму «Арарату» с Северного полюса, точнее, с одной из наших арктических станций; в газете «Физкультурник Армении» сказали, что в адрес команды после победы в Кубке пришло четырнадцать тысяч писем и пять тысяч из них – с Дальнего Востока, с Украины, из Сибири, Молдавии, Москвы, Ленинграда, Таджикистана.

24 октября ранним утром меня поднял с постели телефонный звонок.

– Знаешь, что сказал вчера Симонян Николаеву? – спросил меня один из новых знакомых.

– Какому Николаеву!

– Шутишь, да? Посмотри на календарь – какое у нас сегодня число!

Календарей в номерах гостиницы «Ани» не держат. Однако, прибавив к 20 (день матча с минским «Динамо») 4, я понял, что сегодня 24#е, а следовательно, «Арарат» играет в Москве с ЦСКА и, стало быть, имеется в виду Николаев, который тренирует ЦСКА.

– У тебя не голова, а «Наири», – похвалил меня новый знакомый, ибо не прошло и трех минут, как я проделал в уме все эти вычисления.

– Так что же он сказал?

– Разве это важно? Важно, что ответил Николаев!

– А что он ответил?

– Всякое болтают. Не знаю, чему и верить. У тебя нет информации из первых рук?

– Сейчас позвоню Николаеву, спрошу...

– Шутишь, дорогой, да? А мне, понимаешь, не спится. Не сердись, пожалуйста...

Вечером, за полчаса до начала телевизионной трансляции, еще один приятель Григора, студент-дипломник Шота, в свое время учившийся в одном классе с самим Шуриком Коваленко, стоппером «Арарата», принес наконец ответ Николаева почти из первых рук:

– Николаев ответил: игра покажет.

Игра на московском стадионе «Динамо» показала, что «Арарат» не боится снега и холода. Иштойян снова был в нужную секунду на нужном месте и забил нужный – самый нужный! – гол.

Теперь «Арарату» оставалась одна игра – с «Зенитом». «Арарат» к этому времени был впереди «Динамо», потеряв на очко меньше киевлян.

...Как мы шли на «Раздан» 28 октября, рассказывать не буду. Так же как и 20#го, только транспарантов, плакатов, медалей, портретов Иштойяна несли еще больше, а в скандируемом повсюду «А-ра-рат!» еще сильнее ощущалось предвкушение счастья.

«Арарат» вкупе с «Зенитом» или «Зенит» в паре с «Араратом» посрамили тех пророков из нашей (а возможно, не только из нашей) компании, которые утверждали, что игры не будет, потому что одной команде надо всё, а другой, отдаленной как от медалей, так и от ухода из высшей лиги, – ничего. Игра была столь же темпераментная, сколь и корректная. Маркаров забил гол, именуемый в футбольных отчетах красавцем, но и Зинченко ответил красавцем голом. И Николаев, как выяснилось на «Раздане», парень не промах, а уж про форвардов «Арарата» и говорить не приходится. Была игра (3:2 в пользу «Арарата»), но, право, не она сделала обычный октябрьский день, даже более ветреный и прохладный, чем обычные, Днем дубля!

Все, что не успел я увидеть и услышать в Армении в эти одиннадцать дней постижения любви к математике и всепоглощающей страсти к футболу (а я не побывал на концерте ансамбля народной песни и танца Армении, не сумел поехать на свадьбу, не отметил

ни одной защиты диссертации в «моем» институте) – все это и еще многое другое я увидел и услышал после игры: в этот вечер, совершенно естествен но перешедший в эту ночь.

...Футболисты «Зенита» первыми поздравили футболистов «Арарата» с дублем – пожали руки, обняли, что вызвало на трибунах шквал восторга.

– Благородные люди ленинградцы, – кричал мне в самое ухо какой-то седоватый мужчина не из нашей компании. – И Алов – самый благородный судья, мы его уважаем за объективность. (Замечу, что ленин градский арбитр Алов в Москве судил матч между «Араратом» и ЦСКА.)

Ему приходилось кричать мне про Алова, благородство, Ленинград, потому что все вокруг ликовало.

«Арарат» и «Зенит» выстроились у бровки, обратившись лицом к центральной трибуне. А потом «Зенит», еще раз поздравив соперников, побежал в раздевалку, а «Арарат» двинулся по дорожке с хрустальной вазой и с золотыми медалями – тогда еще не полученными, но уже приобретенными, и «Раздан» во всю мощь своих богатырских легких сопровождал каждый его шаг славы по кругу почета. Это был небывалый концерт для голоса, зурны, барабана, трубы, аккордеона и целого ряда неизвестных мне национальных инструментов. На поле десятки профессиональных танцоров отчубучивали нечто зажигательное, но, на мой вкус, им было далеко до Гриши, плившего по бетонному полу трибуны с самозабвенностью атакующего Андриасяна, лихостью Казаряна и грациозностью Маркарова. Едва Гриша отвел в сторону левую руку, тряхнул кистью, привстал на носки, откинул голову, как к нему примкнули другие мужчины, а потом он примкнул к другим, а потом к третьим – да так и потерялся в ту ночь, потому что зурны играли повсюду...

«Раздан» больше не оглядывал себя – некогда было; он пел, танцевал и внезапно – запылал: горели факелы из старых газет в воздетых к небу руках болельщиков.

С «Араратом» на устах мы текли со стадиона – мимо подвалов всемирно известного коньячного треста, названного, очевидно, в честь любимой команды, «Араратом»; мимо домов, с балконов которых нас приветствовали как триумфаторов; мимо кафе и ресторанов, попасть куда все равно было невозможно... Мы остались без Гриши, ушедшего на призывный звук зурны и не вернувшегося. Зато мы обрели Роберта, для чего потребовались титанические усилия Акопа, Григора и Мисака. Само присутствие Роберта на футболе подчеркивало исключительность этого футбола. Дело в том, что Роберта привели на стадион второй раз в жизни. Первый раз он героически держался до той минуты, когда судья назначил пенальти. Поняв, что игра остановилась, Роберт вскочил, спросил с надеждой: «Перерыв, да!» – и, не ожидая ответа, прыгая через ступеньку, помчался вверх к выходу и исчез. Сегодня он и не думал исчезать – сегодня здесь было на что посмотреть и помимо футбола, – но с тоской думал о трех квадратных метрах не облицованной кафельными плитками стены в ванной комнате (он занимался облицовкой в те вечера, когда друзья оставляли его в покое и уходили к себе на «Раздан», и должен был закончить работу сегодня вечером – если бы не футбол).

– Стыдись, Робик, – укоризненно покачал головой Мисак, читавший в сердце друга так же хорошо, как в собственном. – В такой день думать о кафеле!.. Скажи лучше, что ты нас всех приглашаешь к себе в гости по случаю окончания чемпио ната...

– Конечно, – обрадовался Робик, узнав, что чемпионат окончился... Один русский писатель, побывав в Армении, отметил, что здесь не умер, не затаился дух язычества, – он живет, он проявляет себя не только на виноградниках и пастбищах; память о мудрости, благородстве, доброте языческих народов «освободила армян от религиозной нетерпимости, от жестокости фанатизма». Другой русский писатель признался в своей книге, что Армения научила его любви к своей родине – России.

Армения продолжает учить любви. Любви к своему – не потому, что оно непременно лучше, выше, достойнее, благороднее чужого, а потому, что оно – твое единственное, родное. Армения продолжает учить любви беспримесной – без примеси нетерпимости, зависти, злорадства. Дух язычества живет «в скептической мудрости стариков, в бешеных вспышках ревнивцев, в безумстве влюбленных, в простодушных соленых суждениях старух, в прославлениях виноградной лозы и персикового дерева» – и в народном поклонении футболу, названному кем-то своеобразной отраслью нашего бытия.

В Армении забываешь о том, что это – отрасль, чувствуя, понимая, что это – бытие, его праздничная сторона, объединяющая сердца. Армения учит любить футбол – во-первых, потому, что это красиво, во-вторых, потому, что это красиво, в-третьих, потому, что в этот красивый футбол играют наши ребята.

У болельщиков «Арарата», шестой команды в советском футболе, сделавшей почетный дубль, были в эти октябрьские дни «именины сердца». Допускаю, что не всегда они такие добродушные, веселые, открытые, какими я застал их на «именинах». Разумеется, и среди ереванских болельщиков встречаются отдельные лица с некоторыми недостатками. Но в общем и целом здесь болели за (за красивый футбол, за родной «Арарат») и не болели против. Это заставляло тебя, человека пришлого, гостя, не чувствовать себя чужим на этом празднике жизни. Это вселяло надежды на лучшее будущее... «Зенита» и укрепляло уверенность в его возможностях.

В Ереване хорошо думалось о том, сколь многое может дать команде безоглядная, но и деловая, восторженная, трезвая любовь отдельных граждан и организаций к своей команде. Разумеется, кроме футбола, есть в Ленинграде (Ташкенте, Львове, Ростове-на-Дону, Минске и т. д.) и другие, несколько более важные, «отрасли» бытия, требующие к себе неослабного внимания. Но ведь они существуют и в Армении и, кстати, тоже не обойдены вниманием – как и «Арарат»... Очевидно, не обязательно танцевать на стадионе – можно просто петь хором. Но любить свою команду, любить красивый футбол – со всеми вытекающими отсюда последствиями – совершенно обязательно. И тогда Праздник дубля можно будет отмечать не только на берегах Раздана, но и на берегах Невы.

...«Ара-рат!», «А-ра-рат!» Си-мо-нян! Си-мо-нян! И-што-ян! И-што-ян!

Уже первый час нового, послефутбольного дня, а гром победы все раздастся, а болельщики все размахивают плакатами «Ну, погоди, “Аякс”!», «Ну, погоди, Бразилия!», поют и танцуют. Третий час подряд танцуют мужчины на углу проспектов Саят-Новы и Абовяна. Их осторожно объезжают машины. Развозит своих гостей по домам Роберт. У всех слипаются глаза. Охрипли глотки. Болят ладони и бока. Радость, оказывается, выматывает, как тяжелая, непосильная работа.

– Знаете, на следующий год беру тайм-аут, – говорит Мисак. – Еще один такой сезон – и сердце не выдержит...

– Куда ты денешься! – иронизирует Акоп. – Пока межсезонье – женился бы, а то в тридцать лет холостой ходишь, как мальчишка.

– Я бы женился, Акоп, но разве теперь есть в футболе межсезонье – с этими кубками европейских чемпионов и межконтинентальным!

– Подумаем, Акоп, подумаем... – обещает Григор и спрашивает у меня: – Скажи, пожалуйста, делала ли какая-нибудь команда в нашем футболе два дубля подряд?..

1974

Перед своим незапятнанным голом

Слово «гол» (по-английски «goal») обозначает и мяч, за летевший в футбольные ворота, и сами эти ворота. И когда мы читаем у Набокова: «И каким ревом исходит стадион, когда герой остается лежать ничком на земле перед своим незапятнанным голом», – то понимаем, что речь идет о сохранных в неприкосновенности/незапятнанности героем-голкипером своих ворот, сторожить которые он поставлен.

«Как иной рождается гусаром, так я родился голкипером», – писал Владимир Набоков в автобиографических «Других берегах».

«В России и вообще на континенте, особенно в Италии и в Испании, – продолжает Набоков, – доблестное искусство вратаря искони окружено ореолом особого романтизма. На знаменитого голкипера, идущего по улице, глазят дети и девушки. Он соперничает с матадором и с гонщиком в загадочном обаянии... Он белая ворона, он железная маска, он последний защитник».

Сказать, что Лев Яшин, которому 22 октября 1999 года исполнилось бы семьдесят лет, был знаменитым вратарем, значит ничего не сказать. Знаменитых много – Планичка, Замора, Грошич, Жильмар, Бенкс, Мазуркевич, наши – Соколов, Жмельков, Акимов, Хомич, Набутов, Леонид Иванов, Маслаченко, Кавазашвили, а Яшин – один на весь белый свет. Общепризнанный лучший вратарь мира двадцатого столетия.

«Не могу пожаловаться на то, что спортивная слава обошла меня стороной, – это признание самого Яшина (цитирую по его “Запискам вратаря”, вышедшим в 1976#м в библиотеке “Огонька”). – И писали обо мне тоже немало. Но никогда не доставалось на мою долю эпитетов вроде «человек-птица» или «человек-тигр». И это справедливо. Я к категории феноменов не принадлежу. Никогда ноги не хотели подбрасывать меня в воздух сами, наоборот, всякий раз, отталкиваясь для очередного прыжка за мячом, я ощущал, как велика сила земного притяжения. Никогда мяч не лип к моим вратарским перчаткам сам, наоборот, нас с ним всегда связывали отношения, какие связывают дрессировщика с коварным и непокладистым зверьком. Так что если мое имя и осталось в футболе, то обязан я этим не матери-природе и не счастливым генам».

Феноменальность славы Яшина, первого вратаря мирового футбола XX века, одного из лучших, а по некоторым опросам лучшего спортсмена нашей страны уходящего столетия, в том, что всеобщего поклонения, почета, признания добился не баловень судьбы, а человек нашенский, свойский, мастеровой, труженик (осенью военного 1943#го четырнадцатилетним парнишкой пошел с отцом слесарить на завод), мальчишка, гонявший в московском небе голу бей, словом, парень из нашего города, с нашего двора.

Страна приказывала быть героем, и героем становился любой – ты, я, он, она, Бобров, Стрельцов, Влахов, Яшин. Просто Яшин, часовым поставленный у во рот, лучше других представил, что у него за спиной по лоса пограничная идет, и отменно подготовился к бою. А футбол по востребованности обществом, по месту и роли в коллективном бессознательном часто предстает не игрой, а боем, войной. Не случайно один из политологов, большой знаток футбола, сравнил прошлогодний французский чемпионат планеты с виртуальной мировой войной, где «армии» бьются до последнего, осознавая себя представителями своей страны и своего народа – как говорят итальянцы, сегодня мы не будем европейцами, сегодня мы будем итальянцами.

Страна, которой Яшин служил верой и правдой, всю дорогу либо воевала, либо готовилась к войне. «Эй, вратарь, готовься к бою!» – несло из репродуктора, с экранов кинотеатров (как же популярен был довоенный фильм «Вратарь» по книжке Льва Кассиля с ослепительно красивым и сверхнадежным Антоном Кандидовым, вчерашним волжским

грузчиком, ловящим мячи, как ар бузы). Так надо ли удивляться, что страна с оборонным сознанием выдвинула в первый ряд своих героев врата ря – стража, хранителя, часового? Надо ли удивляться, что страна энтузиастов-коллективистов «приказала» стать общенациональным героем-атлетом не бегуну-марафонцу или боксеру с их обостренным ощущением одиночества как материи существования, а представителю самой что ни есть коллективистской игры?

Тут, правда, были свои нюансы. Одинокость и независимость (о, как прав рожденный голкипером писатель!) фигуры вратаря вообще-то должны быть на подозрении у коллективистского сознания, и для чистоты жанра лучше бы определить в герои кого-нибудь из полевых игроков, кто в дружбу верит горячо и рядом чувствует плечо соседа, товарища, подельника. Но Яшин был необычным вратарем.

Выделенный самым своим местоположением, игровой ролью стража-хранителя-часового, он не прижимался к сетке своих ворот, а играл по всей штрафной площадке, а то и за ее пределами, с хулиганской – тушинской – артистичностью, сняв неизменный кепарь, отбивал высокий мяч головой (правила не позволяли играть за пределами штрафной руками), разрушал вражеские набеги на дальних подступах к своему оборонительному рубежу, глуховатым, но сильным баском не прерывно командовал беспрекословно подчинявшимися ему защитниками, да и не только защитниками (первый – в любой игре – всегда тот, кто лучше всех ее понимает). Этот удивительный вратарь при всей своей отдельности и отделенности от броуновского движения футбольных атомов был главным проводником артельного, коллективистского начала, руководителем и направителем игры.

Не случайно, нет, не случайно наше игровое про странство выделило в общенациональные первачи фигуру вратаря. Талантливых вратарей, как и шахматистов, всегда было у нас пруд пруди. (Кстати, не жнейшая дружба связывала последние десять лет жизни Льва Яшина и Михаила Таля, говоривших друг о друге, что не встречали в жизни человека добрее и благороднее, а еще один шахматный чемпион, Борис Спасский, признался однажды автору этих строк, что смотреть с Яшиным футбол было совсем неинтересно: он все ходы на поле предугадывал и предсказывал.) Про шахматы – отдельная песня, а вот вратарство у нас в крови, и связано это, пожалуй, прежде всего с особенностями национального характера. Какой же русский, россиянин тоже, рожден для спокойной, размеренной, нормальной жизни – в нем закипает ярость благородная только в экстремальных, боевых условиях, когда надо спасать и спасаться, он велик и грозен в чрезвычайных обстоятельствах и ситуациях, а у вратаря, по определению, вся жизнь – чрезвычайные обстоятельства: он поставлен выручать и спасать.

Слава Яшина – выстраданная слава. Битый-перебитый-униженный-освистанный, он не спрашивал судьбу с недоумением «За что?», а только, натянув поглубже на глаза кепку, еще сильнее упирался рогом в землю, еще беспощаднее истязал себя на тренировках и никогда не щадил себя в бою. Достаточно вспомнить, как Лев на чемпионате мира в Швеции в 1958#м в матче с Австрией потерял сознание после сильного удара бутсой в голову, но, едва придя в себя, остался на поле. А четыре года спустя, на следующем чемпионате мира в Чили, после того как закрытый игроками пропустил в четвертьфинале мяч с дальней дистанции, его, спасателя и спасителя, с подачи малопрофессионального и необъективного отечественного журналиста (по телевидению мы тогда «войну миров» не лицезрели) обвинили в нашем поражении, и надо было слышать, каким свистом и улюлюканием обложили трибуны вратаря московского «Динамо», стоило ему, чемпиону Олимпийских игр-56, обладателю Кубка Европы-60, вчерашнему кумиру толпы, появиться на публике в первом московском после чилийском матче. И в первом, и во втором, и в третьем. Сколько он поношений тогда принял, какие муки испытал! Грязные письма, матерные граффити на стеклах машины, разбитые

окна квартиры. Оскорбительная, нестерпимая несправедливость – как сберечь от ее подлых ударов сердце и мозг?..

Всего через год – вот она, выстраданность славы – распинаемого Яшина признают лучшим футболистом Европы и пригласят участвовать в матче века между сборными мира и Англии. Лишь четверть столетия спустя, когда его могучий организм пошел вразнос и хирурги, спасая жизнь, вынуждены были с небольшим интервалом во времени отрезать ему обе ноги, стало понятно, чего это ему стоило...

Да и начинал Яшин не многообещающе, а как-то не складно, нелепо. В первом же своем матче за московское «Динамо» в марте 1949 года – играл он тогда в дубле – с ним произошел случай конфузный: на обжитом многими поколениями московских динамовцев гагаринском поле вратарь сталинградского «Трактора» в середине первого тайма забил своему коллеге мяч, выбив его из своей штрафной площадки. В раздевалке Яшин швырнул в угол перчатки, бутсы и, не в силах сдержать слезы, стал стаскивать свитер. Но тренеры – Станкевич и Якушин – снова поставили его на следующий матч, и еще на один, так что он закрепился в дубле.

А вот в основном составе долго закрепиться не мог. И не потому, что у «Динамо» было два превосходных голкипера – легендарный «тигр» Алексей Хомич, первый учитель Яшина, и безрассудно смелый и чертовски элегантный Вальтер Саная. Просто в один совсем не прекрасный для него осенний день 1950 года, выполняя впервые роль запасного вратаря основного состава (Саная заболел) и выйдя за пятнадцать минут до конца вместо получившего травму Хомича в матче со столичным «Спартаком», Яшин, перехватывая мяч, посланный по высокой дуге, столкнулся со своим полузащитником Блинковым, сбил его с ног, а спартаковский форвард Паршин без помех послал мяч в пустые ворота.

И снова Яшина, по его словам, упрятали в дубль все резко и надолго. Целых три сезона о нем не было слышно, а всего он просидел в запасе без малого пять лет. Не скис, не расклеился, не извел окружающих жалобами на свою несчастную долю. Проклятия, впрочем сдержанные, что бы не повредить тонкую ткань игроцкой, артистической души, посылал только себе. И так себя выдрессировал, так «игру разумом проинтуичил», что длиннорукий, не очень с виду ладный, долговязый стал с каждым годом – с 53 года, как закрепился в основном составе «Динамо», с 54 года, как занял место в воротах сборной СССР, и до последнего игрового сезона в 70 лет – казаться и выглядеть все красивее и сильнее, все свободнее; специалисты отмечали чуть ли не как самое ценное его качество расслабленность в плечах, в поясе, в кистях рук, в коленях, ту расслабленность, которая одаряет вратаря ощущением свободы, легкости, власти над мячом.

В несвободном обществе люди игры, в частности спортивной игры, были свободнее других своих сограждан. Игра ведь старше культуры, при всех своих связях со временем она относительно автономна, самостоятельна – и русский/советский вратарь Яшин чувствовал себя абсолютно свободным и получал блаженство от игры лучших мастеров планеты, защищая в 1963 году ворота сборной мира в Лондоне против сборной Англии, так же как немец из ФРГ Шнеллингер, как сбежавший в Испанию от советских танков в 1956 году венгр Пушкаш, как эмигрировавший из Аргентины в ту же Испанию Ди Стефано, как родоначальники футбола одной из самых старых европейских демократий.

«Блаженство» – слово редкое в яшинском и его по колени словаре. Но всякий раз, вспоминая игру сборной мира, он говорил: «Никогда я не испытывал, участвуя в игре, подобного чувства полной удовлетворенности и блаженства». Другое слово – «долг» – входило в их душевный состав, долг был для них превыше всего на свете. Дело, которым они занимались, было выше и больше каждого из них, это дело объединяло народ и народы гордостью за свою команду, свою страну и – бери выше! – за свою принадлежность к роду

человеческому, избравшему фут бол своей главной утехой, главной игрой (все еще, бу дем надеяться, игрой, а не войной).

Футбол опасен, когда он становится дубиной народ ного гнева в отношениях одной нации с другой. Футбол прекрасен, когда он дает понять, что есть только одна раса – человекство.

Я всего раз в жизни был на футболе, где никто не болел «против», а все болели «за» – на прощальном матче Льва Яшина в московских Лужниках 27 мая 1971 года. Тогда, передав свою повязку капитана сборной мира анг личанину Бобби Чарльтону, Яшин встал в ворота москов ского «Динамо», усиленного тбилисцами и киевлянами, и «сухим» отстоял первый тайм, вытащив полумертвый мяч от Чарльтона в правом нижнем углу (для справки – вра тарю шел сорок второй год!) и еще семь минут второго, а потом сдал свой пост Володе Пильгую и убежал, опустив голову, в тоннель стадиона, – сто три тысячи моих сооте чественников, лиц разных национальностей, вскочили со своих мест в порыве всех объединивших любви и благо дарности этому человеку, подарившему им столько радо сти и счастья, и били в ладоши, и топали ногами, как ог лашенные, счастливые в своем священном безумии.

Лев Иванович Яшин ушел тогда из футбола, а через девятнадцать лет, 20 марта 1990 года, – из жизни, но остался навечно в национальном пантеоне признанных миром русских гениев. Яшин – спаситель, искупивший своими страданиями и подвигами на горько пахнущем травой поле стадиона нашу страсть к таинству игры. Яшин – образец благородства как величия души и нравственной незапятнанности. Ему случалось пропускать не очень мертвые мячи и даже «бабочки», но гол за спиной Яшина так и остался незапятнанным.

1999

Боброву равных не было и нет

Газета «К спорту!», выходившая в Москве еще до революции и возобновленная в перестройку известным журналистом Анатолием Юсиным, регулярно проводила социологические опросы своих авторов, практиков и теоретиков спорта и просто болельщиков. В конце 2000 года газета попросила читателей определить лучшего спортсмена нашего отечества в двадцатом столетии. Спортсменом номер один XX века был признан Всеволод Бобров, единственный в олимпийской истории капитан сборной страны и по футболу (Хельсинки-1952), и по хоккею (Кортинг-1956).

«В его ударах с ходу, с лёта / от русской песни было что-то. / Защита, мокрая от пота, / вцепилась в майку и трусы, / но уходил он от любого, / Шаляпин русского футбола, / Гагарин шайбы на Руси!»

Если бы я был поэтом, я написал бы «Прорыв Боброва», но его в 1969#м уже написал Евгений Евтушенко.

Если бы я видел Боброва на зеленом и белом полях так же часто, как Александр Нилин, если бы хоронил Всеволода Михайловича летом семьдесят девятого в Москве, то имел бы право написать о человеке в кепке, но Саша уже запечатлел это и опубликовал в книге «Видеозапись».

«Он был приметной фигурой разных времен, хотя, пожалуй, до последнего своего часа оставался человеком времени, его наиболее прославившего. В последние годы на стадионах его иногда называли “человеком в кепке”». В сороковые многие носили кепки из букле с серебряной искрой. Как Бобров.

На красной драпировке крышки гроба несли фуражку с голубым околышем. Хоронили полковника Военно-воздушных сил, кавалера ордена Ленина, выпускника Военно-воздушной академии Всеволода Михайловича Боброва.

Больше полутора часов шли люди мимо его гроба. Проститься с ним пришло около одиннадцати тысяч...

Да, он был вхож ко многим влиятельным людям. Он входил к ним запросто, не затрудняя себя дипломатией. Что-то было в этой повадке от бомбардира. Но в прорыв он шел не иначе, как выполняя чью-то просьбу. Никаких проблем не существовало, если помочь товарищу зависело только от него.

Отсутствие широты в людях его корбило. И уж никому никогда не прощал трусости в игре. Замеченный в трусости игрок переставал для него существовать. Про ведущего игрока команды, которую он тренировал, Бобров говорил: «Да пусть он тридцать мячей за тайм забьет – для меня он не игрок. Боится встык идти...»

Корифеи футбола и хоккея сходились на том, что равных Боброву в спортивной игре не было и нет. Таких, как Бобров и Шаляпин, даже богатая на таланты русская земля рождает не часто. Да, в удалом, лукавом таланте вихрастого Севки было что-то от русской песни. А больше всего во Всеволоде, родившемся 1 декабря 1922 года в тамбовском Моршанске и выросшем на ленинградской земле, в Сестрорецке, куда Бобровы переехали в те же двадцатые годы, было, по-моему, от Левши, сумевшего английскую блоху подковать и не позволившего английским мастерам над русскими возвыситься. Лесковский Левша был из Тулы, но и Сестрорецк писатель в своем сказе упоминает как место, где наши мастера могли бы тонкую английскую работу подвергнуть «русским пересмотрам». Судьба, однако, распорядилась так, что «пересмотр» работы островитян произвели тульские, а не сестрорецкие мастера. Правда, блоха, подкованная искусными в ремесле, но точным наукам не обученными тульскими мастерами, перестала прыгать и танцевать.

Впрочем, это уже детали, говаривал в таких случаях гроссмейстер Михаил Таль, с которым лет тридцать назад в подмосковном Новогорске у входа в старый корпус учебно-тренировочного центра сборных команд СССР мы зачарованно слушали рассказ Константина Ивановича Бескова о поездке в Англию в ноябре сорок пятого года московского «Динамо», за которое мы с той поры и болели.

Репортажно-очерковая книга «19:9» о триумфе советского футбола в Англии, названная по итоговому счету четырех матчей чемпионов страны 1945 года столичных динамовцев, усиленных Всеволодом Бобровым из ЦДКА, с ведущими клубами туманного Альбиона, зачитывалась до дыр. Когда я в первые послевоенные годы, приезжая летом из Петрозаводска в Москву, к отцовской родине (отец погиб на войне), ходил на стадион «Динамо» с дядей Сашей, инвалидом войны, женатом на сестре моего отца, болевшим за ЦДКА, то отчаянно переживал нелепейшую для моего детского сознания ситуацию, когда ЦДКА Боброва и Федотова играло с «Динамо» Хомича, Бескова и...

Боброва! Умом-то я понимал, что Бобер не наш, не динамовский, но сердцу не прикажешь, хрипкая скороговорка Вадима Синявского из радиорепортажей о тех феерических матчах и книжка «19:9» навсегда впечатали имя Боброва в мое сердце, и я рыдал, когда Бобер обводил распластавшегося в луже во вратарской площадке Тигра – Алексея Хомича – и влетал в сетку динамовских ворот с мячом!..

В августе семьдесят второго превосходный хоккейный журналист Евгений Рубин познакомил меня в ленинградском дворце спорта «Юбилейный» на международном турнире на приз «Советского спорта» с Всеволодом Михайловичем Бобровым, старшим тренером сборной СССР по хоккею, готовившейся к первой в истории серии из восьми матчей с канадскими профессионалами. Я взял тогда у него интервью о предстоящих играх, а потом, когда мы «приняли на грудь» за наши победы, прошлые и будущие, под любимый Бобровым фасолевый суп, я рассказал ему о своих детских страданиях на забитом под завязку стадионе в Петровском парке. Всеволод Михайлович рассмеялся: «Я после той поездки тоже за Костю Бескова болел... Мы ведь с ним в сорок пятом вдвоем половину всех динамовских мячей англичанам наколотили. То я с его подачи, то он с моей...»

Великого Боброва, Левшу из Сестрорецка (левшу потому, что его «рабочей» ногой была левая), подковавшего английскую блоху, которая и прыгала, и танцевала, нельзя было не любить. Его игра околдовывала всех, кому выпало счастье видеть Боброва, каждый ход которого был неожиданен, непредсказуем.

Для меня Бобров был человеком шалопинской одаренности и симоновской нравственной высоты и чистоты. Увидев в Париже в середине тридцатых фильм о Петре Первом, сыгранном молодым Николаем Симоновым, Шалопин был потрясен: «Вот у кого я хотел бы учиться!»

Когда весной 1973#го Николай Константинович умер, я записал в дневнике: «Выше и чище человека для меня не было». Когда через шесть лет узнал о преждевременной кончине Всеволода Михайловича, горевал как о потере родного, близкого человека. Помянул с друзьями и Симонова, на улице имени которого живу уже тридцать лет, и Боброва, к чьему памятнику в городском парке прихожу, когда бываю в Сестрорецке. Хорошо знаю, что оба артиста милостью Божией (а кто усомнится, что Бобер был великим артистом спортивного театра!) были людьми небезгрешными: когда скромнейший в жизни Симонов в начале семидесятых входил в магазин на углу Чайковского и Фурманова, рядом со своим домом, и занимал очередь в винном отделе, подняв воротник пальто или плаща, чтобы его не узнали, продавщица, высмотрев высокого гостя, зычно командовала: «Мужики, как вам не стыдно, не заставляйте царя Петра в очереди стоять!.. Прошу, Николай Константинович», и ставила на прилавок «Столичную»... А уж о загулах Боброва с сыном Сталина, генералом-летчиком Василием, чего только не пришлось наслушаться в свое время, а потом начитаться.

Сравнительно недавно мне попала в руки книга «Российская империя чувств», вышедшая в Москве, в «Новом литературном обозрении», с привлечшей мое внимание статьей живущего в калифорнийском городе Сан-Диего историка Роберта Эдельмана «Романтики-неудачники: “Спартак” в золотой век советского футбола (1945–1952)». Не собираюсь давать оценку всему труду, но пассаж о Боброве меня покорило. «Величайший футболист той эпохи, армеец Всеволод Бобров был хорошо известен как плейбой, обожавший ночные развлечения. В отличие от Симоняна или Сальникова Бобров был крупным, сильным мужчиной вроде русского крестьянина, мужика. Стиль его игры напоминал танковую атаку. По большей части он попросту завладевал мячом и без претензий на элегантность сметал всех со своего пути».

Трудно более неточно, неверно определить его стиль. Танком, сметающим всех на своем пути, этот могучий, но легкий, неуловимый для защитников, словно летящий над травой форвард никогда не был. Как сказано у Пушкина: «Стремглав лечу, лечу, лечу, / Куда, не помню и не знаю...»

Какие там «претензии на элегантность» у того, кто был эталоном элегантности и выразительности спортивной игры! Те, кто играл с ним, кому посчастливилось видеть Боброва в деле, отмечают его размашистый бег, красивый прыжок, удивительную статность и ладность его фигуры в самых невероятных ситуациях борьбы за мяч или шайбу.

Накануне 90-летнего юбилея Шалапина русского футбола, Гагарина шайбы на Руси (оно отмечалось 1 декабря 2012 года) в российских СМИ прозвучали голоса и почитателей Боброва, чья память сохранила умопомрачительные виражи на льду и колдовскую обводку супермастера на траве и, главное, его партнеров по игре, таких как упомянутый в статье калифорнийского историка Никита Павлович Симонян, игравший с Бобровым за футбольный «Спартак» в 1953#м.

– Я мог сыграть с Бобровым в команде ВВС еще в 52#м. «Представляете, какой грозный сдвоенный центр выйдет у вас с Бобровым», – убеждал меня адъютант генерал-лейтенанта Василия Сталина. Но я сказал Василию Иосифовичу, что хочу играть за «Спартак». Когда расформировали ВВС и Михалыч пришел в «Спартак», я на поле в основном ему снаряды подносил. Играть с ним было не просто. Михалыч требовал мяч: отдай, отдай, отдай!.. В игровых видах спорта Бобров – спортсмен номер один, над всеми возвышается. В хоккее с мячом и шайбой – гениальный, а в футболе – великий. Что он выделял на поле, на льду!.. Как перекидывал клюшку с одной руки на другую в русском хоккее, как вместе с шайбой оббегал вратаря и, выскакивая из-за ворот, забивал в незащищенный угол!

А можно ли верить мемуаристам, спросил Симоняна корреспондент одного еженедельника, что Бобров мог «послать далеко» самого Василия Сталина?..

– Не верьте. Василия Иосифовича не мог. Но любому другому, хоть тренеру, хоть маршалу, мог высказать свою точку зрения. Михалыч знал себе цену. И Василий Сталин его очень любил за талант и душевные качества. А сколько легенд ходило о Боброве!.. Он был в народе невероятно популярен.

Гениальный футбольный тренер Борис Андреевич Аркадьев признавался, что «был влюблен в Боброва, как институтка. Это совершенная человеческая конструкция, идеал двигательных навыков, чудо мышечной координации. Он не думал, не знал, почему надо действовать так, а не иначе. Действовал по наитию. Ему не было равных в игре». Эту восторженную характеристику можно дополнить воспоминаниями друга Боброва, мэтра журналистики Юрия Ваньята, в начале войны командированного в Омск начальником учебно-спортивного отдела областного спорткомитета с одновременным исполнением обязанностей корреспондента газеты «Красный спорт» по Западной Сибири. На берегу Иртыша в тихом деревянном Омске, в ненастный октябрьский вечер, как много лет спустя рассказывал Юрий Ильич, на поле местного сельхозинститута, под проливным дождем он, судив-

ший матч команды эвакуированного из Ленинграда завода «Прогресс» с «Динамо», увидел впервые худого, длиннющего курносого девятнадцатилетнего парня с короткой стрижкой и задорным чубом, обращавшегося с мячом непринужденно, с изяществом, наводившего панику в стане динамовцев. Столь же виртуозно сын рабочего «Прогресса» Михаила Боброва вместе со своим корешем Борисом Забегалиным играл в русский хоккей. Можно часами вспоминать, говорил Ваньят, удивительную одаренность Боброва-спортсмена. За что бы он ни брался, будь то баскетбол, волейбол или настольный теннис, поражали его пластичность, изящество движений, словно он всю жизнь только и делал, что забрасывал мяч в кольцо.

И все-таки рискну поспорить со знатоками. У нас, полагаю, были форварды не слабее Боброва – Григорий Федотов, Эдуард Стрельцов, а в мировом футболе чудотворцы еще более ослепительного дара, скажем, Пеле и Пушкаш. В хоккее же с шайбой равных Боброву не было и нет. Ни в нашей стране, ни за океаном, на родине этой игры.

История нашего хоккея неразрывно связана с именем самого блестящего отечественного игрока Всеволода Боброва.

22 декабря 1946#го он участвует в первом матче первого чемпионата страны по хоккею с шайбой между армейцами Москвы и Свердловска.

В феврале 1948#го в составе впервые созданной сборной СССР выступает в матче с чехословацкой командой «ЛТЦ-Прага».

В феврале 1954#го на первом для нас чемпионате мира советская сборная становится чемпионом, а ее капитану Боброву вручают часы и приз лучшему игроку.

В феврале 1956#го национальная команда Советского Союза, ведомая Бобровым, завоевывает золотую олимпийскую медаль в Кортина д'Ампеццо на VII Белой олимпиаде, дебютной для наших мастеров зимнего спорта. Прославленный канадский хоккеист Морис Ришар, восхищенный виртуозной игрой русского нападающего на итальянском льду, заявил, что капитан советской команды смело может быть включен в десятку сильнейших за всю историю мирового хоккея – любительского и профессионального.

Тренируемая Бобровым сборная страны дважды побеждала на чемпионатах мира.

В сентябре семьдесят второго впервые скрестили клюшки профессионалы североамериканского хоккея и наши мастера под водительством старшего тренера Всеволода Михайловича Боброва, кумира послевоенного поколения мальчишек, самого популярного спортсмена победившей в страшной войне страны.

Не забуду, как в первой половине сентября 1972 года мне пришлось выступать в 189#й школе Ленинграда, где училась моя одиннадцатилетняя дочь Таня. Школа размещалась рядом с кинотеатром «Спартак», в двухстах метрах от нашего дома на улице Чайковского и редакции журнала «Аврора» на Литейном, где я заведовал отделом публицистики. Классная руководительница Таниного пятого «а» попросила меня рассказать что-нибудь интересное о знаменитых людях, с которыми мне пришлось встречаться. Я понятия не имел, что интересно пятиклассникам, и решил говорить о том, что интересно мне самому. Как и большинство жителей нашей страны, я смотрел тогда телевизионные трансляции, слушал радиорепортажи из Монреаля, Торонто, Виннипега, Ванкувера и обсуждал с друзьями и авторами журнала, заглядывавшими ко мне домой или в редакцию, перипетии захватывающих поединков, в которых Третьяк, Харламов, Петров, Михайлов, Якушев, Зимин, Мальцев, Лутченко, Рагулин, ведомые тренером Бобровым, отчаянно рубились с Филом Эспозито, Курнуайе, Кларком, Хендерсеном и другими «профи».

Стоило мне упомянуть имя Боброва, как рыжий парнишка с первой парты, придвинувшись к учительскому столу, за которым я восседал, недоверчиво спросил: «А вы сами-то Боброва видели?»

– Как тебя. И видел, и слышал...

Рыжик, повернувшись к классу, командовал: «Тихо всем! Человек видел и слышал самого Боброва. Рассказывайте, пожалуйста...»

И я стал рассказывать, какие чудеса творил Бобров в футболе и на хоккейных площадках, какой у него был большой тренерский талант и непререкаемый авторитет среди самых выдающихся игроков, как любили своего тренера ребята из молодого дерзкого «Спартака», победившего при Боброве тарасовский ЦСКА... Рассказывая, упомянул, как зимой семьдесят второго (об этом узнал из рассказа Бориса Майорова) команда ветеранов Москвы ездила по городам Сибири, они забросили всей командой двадцать шайб и половину из них Бобров, а ведь он был старше на десять-пятнадцать лет большинства из недавно оставивших лед.

– Как же ты не забил? – спрашивал, случалось, Бобров на тренировке сборной СССР у известного нападающего.

– Под таким острым углом забить невозможно... – отвечал форвард.

– Невозможно? – Всеволод Михайлович брал в руки клюшку, разгонялся, и через несколько мгновений шайба трепетала в сетке ворот...

Для Боброва в игре не было ничего невозможного. Таким мы его помним и любим. Благородного и великодушного. Строптивного и независимого. Единственного и неповторимого. Человека на все времена.

2012, 2013

Рациональный романтик

Бесков, победитель англичан

Были мастера, игравшие лучше Бескова: Бобров, Федотов, Стрельцов, Пеле. Сам Бесков признавал безусловное превосходство и над собой, и над другими бомбардирами мира двух гениев – Григория Федотова и Пеле. Сфотографировался с «королем футбола» на приеме в посольстве Бразилии в Москве и но сил этот снимок в портмоне рядом с фотографиями самых близких – спутницы всей жизни Валерии Николаевны, дочери Любы, внука Гриши Федотова. Они породнились с великим цен трфорвардом ЦДКА через детей: сын армейс кого бомбардира Владимир, нынешний главный тренер московского «Спартака», женился на дочери конструктора динамовских атак.

Очень высоко ставил Бесков Эдуарда Стрельцова, их тандем с Валентином Ивановым (обоих торпедовцев он успел поучить футбольному искусству в начале тренерской карьеры) сравнивал со сдвоенным центром «команды лейтенантов» Федотов – Бобров, которому противостоял в первые послевоенные годы вместе с Карцевым, Трофимовым и другими столь личными динамовцами.

Мое поколение, поколение детей войны, заболело футболом в год победы над фашизмом; в ноябре сорок пятого московское «Динамо», где Бесков играл в связке с приглашенным из ЦДКА для усиления Бобровым, совершило победоносное турне на родину футбола. 19:9 – итоговый счет четырех матчей с клубами Великобритании до сих пор звучит в душе, как и хриповатая скороговорка Вадима Синявского, комментировавшего по радио нашу ничью с «Челси», победу над «Арсеналом»...

В вышедшей в Англии к 50-летию визита русских футболистов книге отмечается, что Бобров, Бесков, Карцев, Семичастный, Хомич ничуть не уступали в технике владения мячом и атлетизме британским асам, а в тактике, комбинационном даре, коллективности игры превосходили отважных, сильных, но прямолинейных англичан.

Красота и результат

На кончину Бескова 6 мая 2011 года отозвались не только спортивные издания, но и политические, худо жественные, научные. Больше всего писали о легендарном тренере, во многом определившем современные тенденции мирового футбола, о его замечательном чутье на таланты, о Бескове – создателе команд и постановщике футбольных спектаклей, которому был важен не столько результат, сколько красота, зрелищность игры.

Многое справедливо в этих оценках, но ни в коем разе нельзя противопоставлять результат игры и ее красоту. Все большие тренеры остались на скрижалях спортивной истории потому, что руководимые ими команды добивались выдающихся результатов. Разумеется, очень важно, какой игрой – вдохновенной, пластично-грациозной или приземленной, жестко-силовой – добыты медали и кубки, но когда их нет, то и разговаривать не о чем. Все успешные тренеры не могут не быть рационалистами, даже рожденные с душой поэта и романтика, как Бесков.

Константина Ивановича я назвал бы рациональным романтиком. Жалею, что не додумался до этого определения при его жизни; интересно, согласился бы с ним мэтр, патриарх, как наперебой стали именовать Бескова после его семидесяти пяти, когда он ушел из большого футбола как действующий тренер, вытащив родное «Динамо» из очередной трясины...

Славословия в адрес Бескова, юбилейные прижизненные и посмертные, с их неизбежны ми преувеличениями, на мой взгляд, отодвинули на второй план, не позволили рассмотреть две принципиальные вещи.

Без одной не понять природы его тренерско го дара. Без другой – не разобраться в судьбе тренера Бескова, более того – в судьбе творца в любезном сердцу отечестве.

Понимание игры

Почему я так подчеркиваю исключительное искусство и мастерство Бескова-игрока, не одаренного от природы безоглядно щедро, как Федотов и Бобров, но ставшего вровень с ними?.. Да потому, что пример Бескова говорит о том, каких высот может достигнуть человек, если зажегшуюся в сердце с малых детских лет искру страсти сумеет разжечь в костер, если научится управлять своими страстями, а не станет их рабом, как многие на Руси таланты мочаловско-стрельцовой одаренности, если будет не просто трудиться, «пахать», вкалывать, а научится каждое движение выполнять сознательно, «подключая голову», если превзойдет конкурентов и партнеров в главном, что делает игру в футбол музыкой сфер, а не тяжелой, опасной для здоровья и жизни работой.

На том, что ум, интеллект, понимание – главное в игре на высшем уровне, сходились великие мастера спортивного театра от Пеле и Майкла Джордана до Владимира Кондрашина и Вячеслава Платонова.

Да, мяч, посланный Бесковым, имел глаза, как сказал о Стрельцове один театральный критик. Бесков видел поле, замечал и не медленно реагировал на любой осмысленный маневр товарища по команде, дирижировал атакой бело-голубых, как Евгений Мравинский, названный «патрищем за пультом», – музыкантами оркестра Ленинградской филармонии. В сыне московского рабочего Ивана Григорьевича Бескова и его жены Анны Михайловны, строгой, суровой, но справедливой (фамильные бес ковские черты) была аристократичность выпускника Кембриджа или Оксфорда, не даром его называли «первым джентльменом советского футбола». Всю жизнь он укрощал строптивых и начинал с себя: ставшая притчей во языцех беспощадность тренера Бескова к выпивохам, нарушителям режима и игровой дисциплины, лентяям, уваливающим от спортивной аскезы – выматывающего тренировочного труда, – шла, как у питерца Кондрашина, из детства, юности, от воспитания в рабочей семье, где кусок хлеба надо заработать, а успех – заслужить.

Бесков не только дирижировал партнерами, он и сам бил прикладисто, резко и сильно. И все-таки, хоть играл он замечательно (дирижер и «ударник» в одном лице), были, повторю, игроки ярче и само бытнее. Но стратега футбольной игры умнее, мудрее Константина Ивановича в отечественном футболе не было. Да простят горячность и категоричность литератора, увлеченного героем своего футбольного романа, поклонники других великих тренеров – Аркадьева, Якушина, Маслова, Качалина, Лобановского...

Бесков превосходил своих коллег по футболному тренерскому цеху в наиболее интег ральном параметре интеллекта – понимании. Понимании игры, человеческой натуры, жизни. Ему, трезвому

всевидцу, было внятно даже то, что рефлексии, осмысливанию не поддается: тайна жизни. «И прелести твоей секрет разгадке жизни равносильны». Поэт ведет речь о красоте женщины, но развее в игре, в спорте, где природное, биологическое и духовное на чала находятся в гармонии-борьбе, не ищем мы разгадку жизни!..

Режиссер футбольного театра

Бесков, романтик по натуре, рационалист по уму, не просто создавал и тренировал команды и ставил им игру, как его друг Юрий Любимов спектакли на сцене легендарной Таганки, а искал смысл в хаотичных, на непросвещенный взгляд, перемещениях мяча и игроков по полю; его игровые метафоры, изобретательные, острые, как у Любимова, по пульсации живой жизни, погружению в ее глубины ближе театру Анатолия Эфроса. Было бы не простительным упрощением утверждать, что романтику Бескову жала в плечах динамовская шинель, а вот в «Спартаке», играющем в футбол с импровизационной, джазовой легкостью, он вдохнул воздух полной грудью и сделал спартаковскую яркую, вольную, но анархичную игру стабильной, организованной, осмысленной...

Все, конечно, сложнее. И московское «Динамо» при Якушине-тренере, при Бескове и других исполнителях его уровня импровизировало не хуже «Спартака» и ЦДКА. Однако нельзя не признать: как романтик он оказался востребован именно в «Спартаке». В «Динамо», возможно из-за его принадлежности к силовым структурам, импровизационность, производная свободы, всегда оказывалась под подозрением, как джаз, «музыка толстых», у советской власти.

Но и «Спартак», который по иронии судьбы динамовец Бесков, вытаскивая в высший дивизион, преобразовал в подлинно современную, элегантную, умную и волевою команду, не стал бесковской «Dream Team».

Таланты с подрезанными крыльями

И тут пора сказать о второй вещи, без которой не осмыслить судьбу тренера Бескова, да и судьбу тренера в России. О прискорбной отечественной традиции подрезать крылья, сносить головы талантам,

людям независимым, по смеявшим иметь суждение, отличное от общепринятого, продекларированного властью и за крепленного обычаем, рабской привычкой подставлять шею под хомут и покорно тащить воз. Бесков, лишенный звания заслуженного мастера спорта при Сталине за неудачу на Олимпиаде 1952 года и снятый с поста тренера сборной СССР при Хрущеве, Бесков, которому практически никогда не давали довести задуманное до конца, которого подсиживали, снимали, изгоняли с капитанских мостиков клубных и национальной команд, испытал по полной программе эту особенность отечественного обращения с людьми неординарными, резко выделяющимися, как его московские друзья из мира искусства режиссер Юрий Любимов, драматург Леонид Зорин, первый аналитик советской футбольной журналистики Аркадий Галинский, как его питерские коллеги Владимир Кондрашин и Вячеслав Платонов.

К вмешательству политики в спорт, как полагают биографы трех великих тренеров, дело не сводится. Есть силы в человеческом обществе куда более влиятельные, чем власти с их репрессивно-силовым аппаратом, силы, коренящиеся в самой природе человека, не с тоталитаризмом рождающиеся и не при демократии умирающие. Одна из них, страшная по своей разрушительности, – зависть. Недаром же Юрий Олеша, оставивший самые поэтичные строки в русской прозе о футболе, назвал свой лучший роман «Зависть».

Четыре года назад, в канун чемпионата мира в Японии, Бесков сказал мне, вспоминая своих гонимых друзей из мира искусства:

– А кто их травил, подсиживал, выгонял? Завистники. Бесталанные негодяи из зависти могут оклеветать любого стоящего человека. Талантливые люди, как правило, на это очень болезненно реагируют.

В немецком пивном ресторане...

Мы сидели с кумиром моей юности в немецком пивном ресторане в Москве, на углу Садово-Триумфальной улицы и площади Маяковского, овеваемые теплым майским ветром; из репродукторов на площади лилась музыка, под которую мы ходили школьниками на первомайские демонстрации («Утро красит нежным светом стены древнего Кремля»), а когда она стихала, Ростислав Орлов рассказывал по радио, как проходит традиционная майская эстафета по улицам столицы... Константин Иванович пригласил меня поговорить

о его «жизни в искусстве» не домой, где жена, Валерия Николаевна, затеяла праздничную уборку, а в ресторан на свежем воздухе, под окнами его дома. Любители пива, потягивающие, как и мы, то темное, то светлое баварское, откровенно прислушивались к нашему разговору, некоторые даже пытались к нам подсесть и получить у легендарного футболиста автограф; слышущий в футбольной среде жестким, суровым, даже невозможным, Бесков (фильм режиссера Алексея Габриловича по сценарию Евгения Богатырева и Александра Нилина назывался «Невозможный Бесков») мягко остановил мою попытку распорядиться на его территории, попросил болельщиков позволить нам поработать и пообещал всем дать автографы после окончания разговора.

Естественно, за месяц до открытия мирового футбольного первенства в Японии я не мог не попросить такого знатока игры, как Бесков, назвать будущего чемпиона.

– Боюсь, что это Германия. Знаю, знаю, что на нее мало кто ставит, что у немцев нет Зидана, нет Оуэна, но они и раньше, случалось, выигрывали у превосходящих их по классу, по таланту игроков команд и становились чемпионами за счет очень высокой игровой дисциплины, полной самоотдачи и холодного расклада.

Я спросил, как выступают в мундиале 2002 года наши, в каком состоянии пребывает отечественный футбол.

– Наш футбол сейчас буксует. В Англии в сорок пятом мы сыграли очень достойно. Советский футбол шел тогда по правильному пути. Талантов у нас всегда хватало, но тех, кто ставил талантам палки в колеса, тоже. Не везло нам на руководителей футбола, очень не везло... Вы даже не представляете, сколько я пережил из-за этих деятелей, негодяев по натуре. Они не давали мне работать всю жизнь. Обидно. Не столько за себя, сколько за наш футбол. Он достоин лучшей доли.

Он ушел с обидой

Он так и ушел от нас с обидой. Завистники, мелкие и подлые, занимавшие крупные посты и должности, лишили Бескова возможности сотворить команду мечты, его и нашей. В 1963#м назначенный руководить сборной СССР с прицелом на английский чемпионат мира, Бесков, создавший, по оценке авторитетного издания «Франс футбол», «самую мощную и интересную команду, какая когда-либо была у Советов», имел в своем распоряжении игроков одной с ним футбольной крови, – Льва Яшина, Альберта Шестернева, Валерия Воронина, Валентина Иванова, Игоря Численко, самородков, умниц и тружеников. (К мировому чемпионату-66 Бесков собирался привлечь в сборную Эдуарда Стрельцова.) Такой «оси», на которой вертелась игра-песня, игра-сказка, игра-фантазия, такого острого копья, способного проткнуть любой оборонительный щит, не было в то время ни у Англии, ни у Германии, ни у Португалии, ни у Италии, ни у Бразилии...

За два года до перелета через Ла-Манш сборная Советского Союза, тренируемая Бесковым, сокрушив сборные Италии, Швеции, Дании (из 31 проведенного матча она проиграла всего один), приехала в Мадрид и в финале Кубка Европы на «Сантьяго Бернабеу», в при-

сутствии самого каудильо, правителя Испании генералисси муса Франко, уступила хозяевам поля с разницей в один мяч. Серебро Мадрида стоило должности старшему тренеру сборной К. И. Бескову и начальнику команды А. П. Старостину.

Спортивные чиновники, выполняя волю цековских «главначпулов», лишили Бескова команды-мечты, а нас, гордящихся своей потрясающей командой, обездолили: когда еще в наших краях столь удачно лягут карты и снова соберутся, встретятся такие звезды с таким звездочетом?!

Наша беседа 2 мая 2002 года (последняя с Бесковым с глазу на глаз, потом мы общались только по телефону) затянулась, к тому же Константин Иванович, человек обязательный, долго давал, как пообещал, автографы на футбольных программках, ресторанных меню и даже 500-рублевых ассигнациях. Посмотрев на часы, решительно, в стиле «невозможного Бескова», встал из-за столика, энергично пресек раздачу автографов, и мы вышли из ресторана.

У входа в свой дом Бесков, прощаясь, по пенял мне:

– Мы, кажется, неплохо поработали, но из-за вас я пропустил футбол по НТВ, который просто не имел права пропускать – «Реал»– «Барселона»...

Ночью 17 мая 2006 года, когда я смотрел финал Лиги чемпионов «Барселона» – «Арсенал», болея попеременно то за лондонцев, то за барселонцев, а больше всего за красоту, когда на кухне успокаивал себя до утра зеленым чаем и прокручивал на экране памяти другие потрясающие спектакли с участием сборных Бразилии, Венгрии, СССР, Италии, Франции, Голландии, то жалел только о том, что не могу, как раньше, позвонить на следующий после матча день в Москву и спросить: «Ну, как Вам, Константин Иванович, “Барселона”?..»

И одно это делало горьким послевкусие от замечательной игры современных чудотворцев футбола, какими были в свое время Пушкаш, Пеле, Кройфф, Беккенбауэр, Платини, Марадона. И наши – Федотов, Бобров, Яшин, Стрельцов. Каким был и навсегда останется в памяти Константин Бесков, скрывавший под строгим ликом «невозможного» укротителя строптивых, по-английски безупречного и холодноватого джентльмена-аристократа русскую сердечность и мятущуюся душу вечно юного романтика вечно юной игры.

2006

Гений во всём

В шахматах, по мнению Виктора Корчного, было два безусловных гения – Капабланка и Таль. «Если бы Таль не стал шахматистом, – сказал Корчной в одном из интервью в феврале 2006 года, – он был бы гением во всём – в литературе, музыке, в чем угодно».

1. Небесный вратарь. Реквием по Талю

1990 год мы с женой встречали в Риге, дома у Таля. Когда в Москве куранты пробили полночь, а в Риге было одиннадцать, Миша сказал: «Пора, рога трубят. Оккупанты, поднимем бокалы»...

Через полчаса он предложил налить еще по одной и выпить за Новый год под девизом: «Мигранты всех стран, соединяйтесь!»

В третий раз мы встретили Новый год ровно в полночь по местному времени – вместе с коренным населением, к которому хозяин дома не без оснований относил и себя.

После двух тяжелейших весенних операций Миша выглядел маленьким, почти бесплотным, с утончившимся ослабевшим голосом. Присутствие прежнего Таля ощущалось по его непрерывным остротам и строгости контроля за действиями ми виночерпия – стоило замешкаться, как раздавалось его слабое, но властное: «Алеша, наливай!..»

Через несколько минут после того, как мы окончательно встретили Новый год – по «коренному времени», Таль взял телефонную трубку, потыкал пальчиком кнопки и – неожиданно – своим прежним глубоким и красивым баритоном сказал: «Лева, здравствуй, это Миша. С Новым годом и вас, и Валю. Геля кланяется. Как вы себя чувствуете?.. Понимаю... Понимаю... Ну я-то ничего. Почти в норме. Еще раз – всего вам самого доброго». Мы подняли чаши за здоровье Льва Ивановича Яшина. Я и не знал, что Миша с ним так близок. Сказал ему об этом. Миша удивился моему удивлению: «Ну как же! Мы ведь оба – вратари».

Действительно, вратари. Великий земной вратарь Яшин. И небесный вратарь – даром, что зовут его не Петр, а Михаил. Здесь, на земле, Миша играл в воротах за факультетскую команду Латвийского университета, страшно гордился этим, очень сокрушался, что из-за нездоровья не мог самолично защитить ворота журналистской сборной от атак нового чемпиона мира Гарри Кас парова, и консультировал меня, гандбольного вратаря в студенческом прошлом, как стоять в голу против тринадцатого шахматного короля.

Владимир Набоков, в студенческие годы тоже игравший в воротах, однажды заметил, что в одинокости и независимости голкипера есть что-то байроническое.

Байроническо-романтическое, даже демоническое впечатление Миша производил только на поверхностных наблюдателей. Однажды при мне известный режиссер предложил Талю без проб сняться в задуманном им телевизионном сериале «Мастер и Маргарита» в роли мессира Воланда. Таль рассмеялся: «А что, надо подумать над вашим предложением...» Не было в нем ни колдовского огня, ни дьявольщины, ни романтического ореола. Все это свойственно иллюзорному утопическому сознанию, слабому, мятущемуся разуму, а Таль был наделен не только редчайшим шахматным интеллектом, но и сильным разумом, здравым смыслом, чувством реальности. Утопии никогда не увлекали его, жившего в стране воплощенной утопии. Он был антиутопистом и «аромантиком». Миша непременно бы переспросил: «Аромантик?! А, понимаю, помнишь аптеку на базаре в Гагре – “Предметы асани-тарии и агигиены”?»...

Таль – веселое имя, Таль – легкое имя, повторим за Александром Блоком слова, отнесенные им к Пушкину. Да, веселое и легкое имя, скажем мы сегодня, когда Талья уже нет с нами. Скажем так, хотя большую часть жизни его рвала на части стая злых, неотступных болезней, десятой доли которых хватило бы, чтобы свалить любого атлета, любого Голиафа, но бессильных до поры в единоборстве с этим легкоступающим Давидом. Скажем так, хотя жил он в стране, где девочка с васильковыми глазами на одном из талевских выступлений в российской глубинке удивленно спрашивала маму: «Ну что ты, мама, говоришь, какой же Таль еврей! Он же такой добрый и замечательный...»

Он жил в этом вывихнутом мире, в мире больного, омраченного сознания и одним своим присутствием смягчал сердца, облагораживал души, заставлял протягивать руки непримиримых противников, объединенных одним – любовью к Талю.

Собственно, Таль – это имя для статьи, для истории, для вечности. Для современников он – Миша. Для внушек – дедушка Миша, для сына Геры и дочери Жанны – папа Миша. Для жены Гели – Миша. И для нас, близких и дальних, – Миша.

Лучше всех сказал о нем Борис Спасский: «Миша – явление Христа народу». Спасский познакомил нас с Талем тридцать восемь лет назад в Ленинграде на каких-то шахматных соревнованиях. Мы с Борей учились на первом курсе филфака Ленинградского университета, Миша – на втором курсе филфака Латвийского университета в Риге. Это было давно, в эпоху доисторического материализма, когда ленинградец Спасский был гражданином СССР, а не Франции, а Миша излучал свет добра, нежности и человеческого участия, тот свет, который и позволил Борису назвать его приход в шахматную жизнь явлением Христа народу.

Эта метафора Спасского, по-моему, нравилась Мише, хотя он полагал, что в его внешности куда больше свирепого, корсарского, чем жертвенного, добродушного, вегетарианского. Вегетарианцем, свидетельствую, он не был. Отличался кровожадностью: любил бифштекс по-татарски из сырого мяса, с кровью, густо наперченный. И для здоровых-то почек весьма ядовитое кушанье, а для талевской одной, нездоровой, – яд опаснейшей концентрации. Но в Таллинне в ресторане гостиницы «Таллинн» так готовили бронебойный татар-бифштекс, что невозможно было его не заказать и не залить пожар в чреве пинтой чего-нибудь покрепче и похолоднее. Он вообще яростно любил все, что врачи ему категорически запрещали: соленейший восточный соевый соус, маринованный чеснок и гурийскую капусту, все острое, пряное, режущее, колющее, пропарывающее внутренности – чтобы было чем залить вечное пылание.

Миша принимал жизнь страстно, он заражал своим раблезианством, аппетитом к жизни, неистощимо изобретательной на удовольствия, радости, наслаждения.

Гурман в застолье, он не был рафинированным эстетом в искусстве, особенно в словесности. Мэтры модернизма, утонченные интеллектуалы словесной игры, магистры ордена игры в бисер не числились среди его любимых авторов. Он отдавал явное предпочтение реализму. Магическому, фантастическому, но реализму – от Булгакова до Маркеса. А самой близкой его мироощущению книгой была дилогия Ильфа и Петрова о похождениях Остапа Бендера, в котором помешанные на политике современные исследователи усмотрели фигуру отца народов Иосифа Виссарионовича, а в Ильфе и Петрове – ярых сталинистов. Это, несомненно, позабавило бы исследователя их творчества, выпускника историко-филологического факультета М. Талья, хотя к гипотетическому литбрату О. Бендера – И. Сталину – Миша относился весьма определенно и чувств своих не скрывал, хотя и не афишировал их во времена не столь отдаленные.

Миша бросался в огонь шахматных атак, не очень-то заботясь о технике личной безопасности, о подстраховке. Но с дубом он как отдельно взятый гражданин-теленос не бодался. Не по причине недостаточности личного мужества – в этом никто не по смеет

упрекнуть бесстрашного вратаря, лихого тореро, отчаянного шахматного корсара. Сдается, что тут дело в другом. Думаю, просчитав на много ходов вперед, «великий комбина тор» увидел, что матом эта комбинация не завершается. Даже так скажу: он нашел мат, но, поскольку дело происходило не в игре на 64 клетках, а в жизни, которую он никогда с игрой не путал, в жизни, где матом королю партия не кончается, он понял, что дело не в том, чтобы проклятый дуб свалить, а в том, что на его месте вырастет: какой баобаб, какой левиафан, какое чудище, а если это снова будет чудище, то стоит ли биться лбом о стенку и не поискать ли спасения на путях ненасильственного сопротивления злу, на путях победы зла добром и только добром?..

Кровожадным Таль был только в ресторации. Агрессивным только за шахматным столиком. Добрее и сердечнее человека, чем этот прожженный игрок, трудно себе и вообразить. Наделенный редчайшей силой духа, он неопровержимо доказал всей жизнью, что есть такие крепости, которые не могут взять ни большевики, ни националсоциалисты, ни какие другие вооруженные до зубов оружием ненависти сильные мира сего. Эти крепости – наш разум, способный видеть все при свете дня, наши души, залитые светом любви.

Неправда, что только смерть придает личности ее истинный масштаб. Споры нет, бывает и так. Может быть, чаще всего так и бывает. Но разве мы не знали при жизни Талья, кем он был? Знали: гений. Давно было сказано, давно вошло в обиход и стало как бы видовым обозначением Талья: малина – ягода, во робей – птица, лосось – рыба, Таль – гений.

Когда я написал об этом в книге о шахматном единоборстве Карпова и Каспарова «Каисса в Зазеркалье», мой шахматный консультант, фактический соавтор и герой книги Михаил Таль поставил на полях рукописи маленький, но, как мне показало, ехидный знак вопроса. Встревоженный, я позвонил ему из Ленинграда в Ригу (дело было в 88#м):

– Миша, в этой классификации что-то не так?

Миша только хмыкнул:

– Очевидно, у меня тут были сомнения относительно лосося или воробья, уж не помню... Разумеется, ты можешь оставить все, как считаешь нужным.

Небесный вратарь ушел туда, где нет деления людей на эллинов, иудеев, арабов, русских, китайцев, где нет границ, без которых – единым человеческим общежитием – мечтал жить наш с Мишей любимый поэт школьных лет.

Единогласное человеческое общежитие, судя по всему, в обозримом будущем не предвидится. Но люди планетарного сознания, знающие, что «родное и вселенское не два, а одно», слава Богу, еще рождаются на земле. Одним из них был Михаил Таль, пришедший в этот мир 9 ноября 1936 года и ушедший от нас 28 июня 1992 года.

Михаил Таль. Сын гармонии, небесный вратарь. Человек, вызывавший и вызывающий всеобщую любовь.

1992

2. Душа моя – только человеческая

У каждого свое представление о земном рае.

В моем – озеро, теплая лунная ночь, друзья, разгоряченные баней и остуженные озером, стол с ухой и жареными судаком, сигом, щукой, отварной картошкой, малосольными огурчиками. Редкое для севера лето с густым дремотным теплом, ленивым ветерком, запутавшимся в верхушках берез и сосен, под которыми мы славим жизнь, смеемся, балаболим, поем, читаем стихи, и только иногда кольнет вдруг в сердце: это слишком хорошо, чтобы быть правдой...

Мы похитили Мишу у любителей шахмат Петрозаводска и привезли сюда, на дачу к моему другу, за сорок верст от города – чтобы он пришел в себя от сеансов на трид-

цати-сорока досках, лекций, интервью, официальных и полуофициальных обедов; он не спит уже третьи сутки, но по дороге покемарил в машине полчаса, по плавал в Ангозере, с наслаждением покурил на мостках и теперь вот ведет стол и с чувством поет из «Пиковой дамы», потом «Очи черные»,

потом Высоцкого. Просит меня почитать стихи. Я читаю Лонгфелло, «Псалом жизни», бунинский перевод:

*Не тверди в строфах унылых:
«Жизнь есть сон пустой!» В ком спит
Дух живой, тот духом умер:
В жизни высший смысл сокрыт.*

*Жизнь не грезы. Жизнь есть подвиг!
И умрет не дух, а плоть.
«Прах еси и в прах вернешься», —
Не о духе рек Господь.*

И еще из того же псалма:

*Жизнь великих призывает
Нас к великому идти,
Чтоб в песках времен остался
След и нашего пути.*

Миша, может быть, самый свободный человек из всех, с кем меня сводила судьба, он живет так, как хочется – вольно, свое вольно, но в его своеволии, раскованности нет ничего подавляющего чужую волю, обижающего, пусть даже ненароком, невзначай, другого человека; выпады этого искуснейшего интеллектуального фехтовальщика молниеносны, от них нет удовлетворительной защиты, он, как Сирано, обязательно попадет «в конце посылки» – но, повторяю, это не смертельно, не надо только пыжиться, надувать щеки, надо быть самим собой, надо дать вовлечь себя в этот талевский водоворот, и тогда тебя тоже понесет, и ты обнаружишь, что не переворачиваешься в этом бай дарочном слаломе, а если и перевернешься разок-другой, не беда, он не даст тебе утонуть, его рапира не только клинок разящий, но и удлинённая рука помощи...

Есть такие края на свете, где человек становится талантливее, чем он есть на самом деле. Есть такие люди на свете, в поле притяжения которых невозможно не стать – хотя бы на час, на день, на ночь! – талантливым, вдохновённым, не почувствовать себя избранным.

Михаил Таль – из таких людей. С ним всегда было легко, весело, свободно, он никогда не давал почувствовать другим, что он

небожитель, а мы, его окружающие, всего лишь земные человеки, попавшие к нему, к всеблагим на пир случайно, по прихоти судьбы и должны вести себя на этом пиру скромно, не забывая о масштабах, уровнях и прочих соизмеримостях... И все-таки каждый, кто давно знал Талья, и пользовался его расположением, никогда не забывал, что имеет дело с гением, с великим шахматистом и человеком. Иначе с чего бы это я вдруг удумал читать стихи о великих, о подвиге их жизни – кто-то же внушил мне, что они здесь уместны, в этом земном раю?..

И снова, через восемь лет, повторяю про себя строки из этого псалма: «И умрет не дух, а плоть...»

Желтый песок сыплется на гроб с телом Миши. Желтый песок и деревянные шахматные фигурки – белые и черные (это идея Ратко Кнежевича, черногорского серба, старинного Мишиного друга, – опустить в могилу шахматного маэстро комплект фигур). Хмурившееся с утра небо роняет капли дождя на песок, на деревянных коней, на розы на земляном холмике над могилой.

Печально поет скрипка. Листья раскидистых кладбищенских деревьев не колышутся.

Рига. Кладбище Шмерли. 2 июля 1992 года. 13 часов 35 минут местного времени. Миша ложится в землю рядом с отцом и матерью.

За час до полудня в Рижской еврейской общине было прощание с Михаилом Талем. В почетном карауле у гроба можно было увидеть и парламентариев Латвийской республики, и министра, и руководителей спортивных ведомств, и гроссмейстеров, мастеров, арбитров, как местных, так и приехавших из Москвы, Санкт-Петербурга, других городов...

Помню кадры старой, 1960 года кинохроники, тысячи рижан встречают вернувшегося с триумфом из Москвы нового, восьмого в истории, шахматного чемпиона мира 23-летнего Михаила Таля. Машина с улыбающимся чемпионом, увенчанным лавровым венком, не может проехать сквозь это море...

Автобус с гробом экс-чемпиона мира беспрепятственно следует вверх по улице Бригас (Свободы), бывшей улице Ленина. И у улицы, где жил Михаил Таль, где живут сейчас его жена Геля, его дочь Жанна, юная способная пианистка, новое название. Не Горького, а Кришьяна Валдемара.

Геля с Жанночкой едут не с нами в автобусе, а отдельно – в машине. Прилетел на похороны отца и его сын Гера, Георгий Михайлович,

из израильского города Беер-Шева, приехала из Антверпена мать Геры – Салли.

Многие пришли проводить Мишу, Михаила Нехемьевича, гроссмейстера Таля в последний путь. Но людского моря нет. Нет особого внимания и со стороны газет Латвии.

Умер кто? Гений. Всего лишь гений. Не национальный герой за свободу и независимость Латвии, а шахматный гений, достояние не отдельно взятого государства, а всего мира.

Ему воздают почести мир и любящие его люди. Местное телевидение посвящает похоронам самого знаменитого рижанина второй половины XX века несколько минут в спортивном дневнике информационной «Панорамы». Газета «Диена» через день после похорон Таля, 4 июля, напечатала снимок почетного караула у гроба с подписью: «В четверг Латвия простилась с человеком, который прославлял ее на мировой арене. Чемпион мира по шахматам Михаил Таль был дорогим гостем в каждом городе, однако для него самой близкой всегда была родная Рига».

Если бы Михаил Таль боролся за нашу и вашу свободу, как писали совсем недавно в газетах Балтии, если бы у него была латышская фамилия, его похороны, осмелюсь предположить, не носили бы подчеркнуто камерного характера, им постарались бы придать другой масштаб – общенационального, государственного горя. Так, как было 4 июля, через день после прощания с Талем, когда Рига, Латвия хоронила знаменитого кинорежиссера Юриса Подниекса, утонувшего во время подводной охоты. Тысячи людей прошли через Домский собор, прощаясь с национальным героем Латвии, борцом с тоталитаризмом. Вся церемония прощания передавалась по телевидению, в прямой трансляции. Все руководство независимой Латвии пришло в это утро в Домский собор.

Я с уважением отношусь к подвигу жизни Юриса Подниекса. Я высоко ценю его позицию, которую он выразил, выступая недавно по национальному телевидению: «Сначала я человек, а потом – латыш».

Подниекс варился в самой гуще политической борьбы, он отчаянно сражался за независимость родной Латвии, но не уставал подчеркивать, что ему «непонятен шористый

латышский национализм». Он, Подниекс, восторгался человеческим умом независимо от национальности.

Михаилу Талю, далекому от поли тики, с ее неизменной однозначностью, прямолинейностью и пристрастностью, Михаилу Талю,

убежден ному демократу, еврею по крови, латышу по рож дению, русскому по культуре, человеку абсолютно не за шоренному, был абсолютно чужд любой национализм, всякий намек на племенной подход к людям и народам. Вот кто мог бы, как свои, повторить слова замечательного русского поэта и писателя А. К. Толстого: «Я не принадлежу ни к какой стране и вместе с тем принадлежу всем странам зараз. Моя плоть русская, славянская (тут Миша, несомненно, вставил бы: “Возможны варианты”. – А. С.), но душа моя – только человеческая».

И когда мы поминали Мишу в доме 34 по улице Валдемара, кто-то сказал, что Миша, несмотря на все свои хворобы, был наделен такой силой духа, такой волей к жизни, что и тут, на последнем, как оказалось, рубеже мог бы дать бой смерти, мог бы найти гениальную комбинацию и выиграть партию, но не захотел – не захотел жить в ми ре, где брат поднялся на брата; все в Мише восстало против такого порядка вещей и он ушел, как бы протестуя, как бы призывая всех нас опомниться, пока не поздно...

1992

3. В Ригу к Талю. Десять лет спустя

Не Калиостро – Моцарт!

Раньше, при жизни, у него в родной Риге был один адрес: ул. Горького (ныне Кришьяна Валдемара), 34, кв. 4. Теперь, когда его нет с нами уже десять лет, у него два приюта под балтийскими серыми, цвета металлик, небесами: в домовине нового еврейского кладбища, рядом с отцом, матерью и старшим братом, и на глыбах красного гранита в Верманском (бывшем Кировском) парке, в самом центре Риги; здесь он – огромная бронзовая голова – один: красивый, двадцатидвухлетний, не Калиостро – Моцарт, аллегория «Вдохновение».

Когда 28 июня 1992 года он умер – тяжелую мученическую смерть принял, даже сильнодействующие наркотические препараты не унимали боль – в рижском журнале «Балтийские шахматы» написали: «Загадка феномена Михаила Талья не разрешена и не может быть разрешена однозначно, подобно тайнам Микеланджело, Паганини и Калиостро. Пока существует шахматный мир, на его небосклоне всегда будет сверкать ярчайшая, загадочная и притягательная звезда по имени Таль».

Катет длиннее гипотенузы

Триумф иррациональности в шахматной партии привлекал его больше, чем торжество логики. Двадцать лет назад, объясняя свои шахматные пристрастия, Таль заметил: «На доске ведется яростная борьба, подчиненная глубокой идее, все продумано до мелочей, планы осуществляются точно в срок, а исход сражения решает ход конем в угол доски, не имеющих ничего общего с главным мотивом драмы... Выражаясь математическим языком, мне больше всего нравится в шахматах миг, когда катет длиннее гипотенузы!»

Жизнь иррациональна, как лучшие партии Талья. В ней, как на доске у «балтийского корсара», катет почти всегда длиннее гипотенузы, вопреки всем постулатам эвклидовой геометрии. В жизни все подчинено второму закону термодинамики, все, как Гавриил Державин написал, «вечности жерлом пожрется и общей не уйдет судьбы», и только память, одна лишь память может побороться с небытием.

Сколько вспомним, столько и отвоюем у энтропии. Сколько помним человека, столько он и живет. Это касается и нас, простых смертных, и бессмертных, гениев человеческого рода.

Десять лет спустя

Десять лет я не был в Риге, с того самого дня как проводил Мишу в последний путь вверх по Бривибас, на еврейское кладбище Шмерли.

Это было 2 июля 1992 года в столице независимой Латвии, а умер он в Москве, в больнице на окраине российской столицы, 28 июня.

Не был в Риге не потому, что надо получать визу, не из-за обиды на родной город гения, более чем скромно попрощавшийся со своим знаменитым сыном. Просто Рига, да простят мои рижские друзья, для меня без Миши опустела и стала на голову ниже, как Россия, оставшаяся без Андрея Дмитриевича Сахарова.

Ума и совести становится меньше в мире, когда его покидают люди масштаба Андрея Сахарова, Мераба Мамардашвили, Михаила Таля, Иосифа Бродского. У каждого свой скорбный лист памяти, свой перечень ушедших, которые (жизнь и после жизни парадоксальна и иррациональна), переселяясь в вечность, стали для нас, продолжающих мотать свой земной срок, еще ближе и незаменимее, чем были, когда мы находились в одном временном измерении, когда можно было, сняв трубку, набрать «8», после гудка – 013, номер абонента 27-00-59 и услышать густой баритон абонента (с таким голосом в Ла Скала надо петь, а не фигурки по доске двигать!).

Тень Альцгеймера

Признаюсь, для подстраховки, чтобы несуществующий теле фонный номер не перепутать, я полез в письменный стол за старой записной книжкой: тень Альцгеймера нависает не только над Рональдом Рейганом, не одни мартышки слабеют к старости глазами, ушами, рассудком. Миша, слава Богу, с Альцгеймером никогда не пересекался, память у него до последних дней была редкостная, он никак не мог уразуметь, почему я листаю записную книжку, чтобы позвонить из аэропорта «Шереметьево» в гостиницу «Спорт»: ведь замдиректора гостиницы, Мишин поклонник, дал нам свой засекреченный телефон всего две недели назад, «неужели ты (т. е. я) не запомнил?!»

Столько было принято на грудь на Мемориале Чигорина в Сочи за эти две недели, в авиарейсе Адлер – Москва, что я свой-то домашний телефон забыл, а Миша, поддерживаемый мной, с трудом разлепляющий губы, диктовал мне сначала телефон замдиректора «Спорта», потом телефон своего московского друга Семена и, наконец, Алика Рошаля, чтобы узнать, в каком положении отложена очередная партия безразмерного матча Карпов – Каспаров... Говорить по телефону, а тем более записывать позицию он не мог, но все телефонные номера назвал точно, а в такси из аэропорта до гостиницы, покемарив минут пятнадцать и освежив мозг, погрузился – вслепую! – в отложенную молодыми гениями позицию и почти трезвым голосом вынес приговор: «Подергаются немного и разойдутся с миром...»

Творческая потенция не оставляла его до последнего мгновения. Через три года после нашего перелета из Адлера в Москву, вконец измученный болезнями (операции следовали одна за другой), он выиграл в Канаде первый чемпионат мира по блицу, опередив, что особенно согревало душу стареющего тореро, и Гарри Кимовича, тринадцатого шахматного короля, и Анатолия Евгеньевича, двенадцатого престолохранителя. А за две недели до смерти (печень практически уже не «чистила» кровь), исхудавший, в чем только душа держится, был вывезен друзьями из больницы на турнир по блицу на призы «Вечерней Москвы» и занял третье место, «прибив» действующего чемпиона мира Гарри Каспарова,

к которому вообще-то испытывал стойкую приязнь, даже симпатию, что, впрочем, никогда не мешало ему размазать противника по доске...

За доской – пират: он говорил, что в его лице, нависающем над деревянными фигурами, есть что-то бульдожье, вне шахмат – сама доброта.

Борис Спасский, десятый шахматный земной владыка, в прошлом году, 10 августа, на открытии памятника Михаилу Талю в центре Риги говорил об уникальном, редко встречающемся на свете сочетании в одном человеке божественного дара и невероятной доброты, доброты в обоих смыслах этого слова – и как расположенности к людям-братьям, распахнутости любящего всех сердца, абсолютно не способного ненавидеть, и как щедрости – в талевском случае щедрость была бездонная, с точки зрения прагматиков граничащая с патологией...

Рига закована в латы

Никто с таким легкомыслием не относился к денежным знакам, как знаток ильфпетровской одиссеи о приключениях благородного жулика с его вожделенной мечтой о миллионе... Знавший едва ли не наизусть «Двенадцать стульев» и «Золотого тельца», Миша никак не мог взять в толк: из-за чего, собственно, сыр-бор в этих романах разгорелся, то есть умом-то он, разумеется, понимал вожделеющих миллионы тугриков, но то, что в нас выше ума, что нами руководит, нас направляет, нами повелевает (за неимением другого существительного мы говорим «душа»), отказывалось всерьез относиться к этим миллионам, миллиардам, тысячам рублей, долларов, марок, крон, тугриков, лат...

Впрочем, лата тогда, кажется, еще не было. Это теперь Рига, как старый рыцарь, закована в латы. Тяжелые латы: в одном лате почти два доллара.

Город похорошел, помолодел

Будем справедливы: за те десять лет, что я здесь не был, Рига похорошела. Свобода ей к лицу, свежему, умытому, настаивающему на своей чистоте как родовом знаке отличия. Петербургу, тяжело, насадно, со скрипом готовящемуся отметить свое трехсотлетие, не грех бы поучиться у соседа по Балтике рвению, с каким он охорашивается, соблюдая в реставрационных делах благородную гармонию между бережением памяти, сохранением исторической точности и современным размахом, яркостью, свежестью красок постиндустриальной цивилизации, бережно вписывающей свои творения в прекрасный мир дюн, сосен балтийского взморья, в прохладную тишину рижских парков.

Риге к лицу парки, как Санкт-Петербургу набережные, а Москве – бульвары. Риге очень идет, что в одном из лучших ее парков рядом с большими деревьями люди, воюющие с забвением одним доступным им оружием – памятью, установили памятник своему великому гражданину, в котором, по правде говоря, величия не было ни на грош, зато любви, сердечной теплоты и серых клеточек в обоих полушариях мозга хватило бы на целый мегаполис...

Не пустой для сердца звук

Я должен назвать этих людей, для которых, как и для меня, для тысяч петербуржцев, россиян имя Михаил Таль – не пустой для сердца звук, которые руководствуются в своей жизнестроительной практике мудростью древнекитайских философов, советовавших: «Когда пройдет дождь, приведите в порядок могилы своих предков». Это они – шахматный мастер Валентин Кириллов, последний тренер Таля, перворазрядник, доктор инженерных наук, профессор, депутат Рижской думы Олег Щипцов, поэт, видный общественный деятель, первый посол восстановившей свою независимость Латвии в России Янис Петерс, предприниматели Хайм Коган и Виктор Красовицкий, выдающийся латышский скульптор

Олег Скарайнис, архитекторы Гунтис Сакне и Лелде Штерна – сделали все, чтобы в дни празднования восьмисотлетия Риги Миша был явлен граду и миру рядом с «Вернисажем», музыкальным, культурным центром столицы Латвийской Республики, на верандах-галереях которого Таль и блицевал, и играл серьезные партии: Миша был бы доволен, говорили мне друзья восьмого шахматного короля, что ему нашли в городе такое замечательное место.

Валя Кириллов, мой старый знакомый, сделавший мне царский подарок – шесть томов творческого наследия М. Таля (шестой том только что вышел, готовится к изданию седьмой, куда войдут его журнальные и газетные публикации), рассказал о забавном – в духе самого Таля, великого остроумца и пересмешника, человека с абсолютным чувством юмора, – эпизоде, случившемся в «Вернисаже» в день открытия памятника Михаилу Талю.

Как памятник открывали

Надо сказать, что в пятницу, 10 августа 2001 года в Верманском саду был устроен грандиозный шахматный бал, главными фигурами которого были гроссмейстеры Борис Спасский, прилетевший из Парижа, ученик Таля Алексей Широв, один из сильнейших гроссмейстеров мира, принявший испанское гражданство, но в последние годы живущий подолгу то в Вильнюсе, на родине своей юной жены,

очаровательной Виктории Чмилите, то в родной Риге, гроссмейстер из Литвы Виктория Чмилите и... сам виновник торжества – Михаил Таль. Первые трое гроссмейстеров перемещались между столиками, давая сеанс одновременной игры, а Миша скромно сидел в углу одного из залов «Вернисажа» перед доской с позицией из партии со Спасским (турнир звезд в Монреале, апрель-май 1979 года) – слон бьет с шахом на h2, после чего позиция белых безнадежна.

Кириллов, подведя знатного парижского гостя к «восковой персоне» М. Таля, спросил Спасского, помнит ли он эту партию, на что Борис ответил: «Еще бы... Повозил он меня тогда знатно».

Когда шахматная часть праздника закончилась, хозяева позвали всех собравшихся в зал, где уже были накрыты нешахматные столы. Гости дружно и разом устремились в сияющий, сверкающий зал к запотевшим бутылкам, семужке, осетринке и прочим рольмопсам. Все, кроме одного, склонившегося над позицией, где у него была матовая атака.

Служитель «Вернисажа», заглянувший в выставочный зал, где были развешаны фотографии и размещены боевые трофеи «рижского корсара», попросивший всех покинуть помещение и собиравшийся погасить в нем свет, увидев, что один из шахматистов не встает из-за столика, грозно спросил: «А вас, что, это не касается?..»

Распалась дней связующая нить...

Нас, кто любит и помнит Михаила Таля, все касается – и то, что до сих пор нет в Риге улицы его имени (хотели было в Городской думе присвоить его имя одной из окраинных улочек, но депутат Щипцов воспротивился и уговорил коллег не делать этого: Таль заслужил, чтобы его имя носила одна из улиц в центре Риги). И то, что сорванная неуставленными вандалами в 1996 году мемориальная доска на его доме, открытая 9 ноября 1993 года, до сих пор не восстановлена. И то, что в квартире Таля нет музея великого рижанина (не сумели в свое время наскрести восемнадцать тысяч долларов, чтобы выкупить квартиру у объявившегося собственника дома), а помещается ныне одно из торговых представительств...

28 июня, в десятую годовщину по смерти Михаила Таля, мы с Валеи Кирилловым и Олегом Щипцовым возложили цветы – гвоздики, розы и любимые Мишины желтые фрезии и на могилу, и к памятнику в Верманском саду, а потом сели за стол, сооруженный стараниями жены Олега Татьяны Чернявской, преподавательницы консерватории,

и вместе с подъехавшим президентом шахматной федерации Латвии, молодым успешным главой крупной строительной корпорации Валдисом Колнозолсом стали вспоминать Мишу, всевозможные веселые истории, с ним связанные. Постных, печальных физиономий вокруг себя Миша не выносил и не хотел, чтобы его вспоминали с похоронным выражением на лицах. Свою последнюю любовь Марину Филатову, нашу землячку, на руках которой Миша умер, он за день до смерти просил не приезжать в Ригу на похороны («это дело семейное») и еще попросил ее в Питере на девятый день после смерти устроить поминки для своих питерских друзей и непременно сделать шашлык...

Миша любил шашлыки, Тбилиси, Грузию. Я тоже люблю Грузию, но не бывал в ней еще дольше, чем в Латвии. «Распалась дней связующая нить. Как их обрывки нам соединить?..»

2002

Превзошедший самого себя

Сокрушительные удары

О чемпионе мельбурнской Олимпиады Геннадии Шаткове, великом боксере, ставшем за гранью ринга великим человеком, первым в литературном журнале написал Герман Попов, блокадный мальчик, учившийся, как и Геннадий, в Ленинградском университете. Очерк «Победа, не увенчанная олимпийской медалью» напечатала «Аврора» в августовском номере за 1972 год, в канун Олимпийских игр в Мюнхене. У ног сидящего в кресле сильного мужчины в хемингуэевском свитере, изображенного на фотографии, лежала огромная собака.

За финальный бой, выигранный на ринге в Мельбурне в 1956#м, Шатков получил орден Ленина от советского государства и золотую медаль от Международного олимпийского комитета. Бой, выигранный Шатковым у судьбы после тяжелого стволового инсульта в 1969#м, не увенчанный наградами, навсегда сохранится в нашей памяти.

У Шаткова (это запомнилось при нашей первой встрече в феврале пятьдесят седьмого в студенческом общежитии университета на улице Стахановцев) была красиво посаженная голова и «веселые глаза человека, которого не победить». Так писал о старом рыбаке Эрнест Хемингуэй, получивший за повесть «Старик и море» Нобелевскую премию в пятьдесят четвертом. В тот год я поступил в университет, а Шатков был на последнем, пятом курсе.

Человек с веселыми глазами, с головой роденовского мыслителя и спиной портового грузчика, в элегантном темно-синем костюме, пришел на встречу к своим коллегам студентам и аспирантам юрфака, жившим в общежитии на Малой Охте, и к нам, филфаковским студентам и студенткам: девы-филологини составляли подавляющее большинство нашего факультета. Они как никто сумели оценить его красоту, обаяние силы и мужественности, отсутствие рисовки и позерства, свойственные нашему брату, окруженному повышенным женским вниманием. Он держался естественно, рассказывая о мельбургской эпопее, не кичился силой и удачливостью, хотя газетчики и радиокомментаторы захлебывались от восторга, описывая бег Владимира Куца по дорожке мельбургского стадиона и бои первых советских олимпийских чемпионов по боксу Владимира Сафронова, Владимира Енгибаряна и Геннадия Шаткова, удар которого, как сказал в интервью австралийским газетчикам его противник в финале чилиец Роман Тапиа, «сначала чувствуешь, потом уже замечаешь».

Вблизи, совсем рядом, я увидел Шаткова впервые в тот зимний вечер пятьдесят седьмого, но уже имел представление о том, как он боксирует. Летом 1956#го в Москве проходил боксерский турнир Первой летней Спартакиады народов СССР. Ленинградец Шатков работал на контратаках и, усыпив внимание противника, проводил свою коронную комбинацию «тройку», завершая ее нокаутирующим ударом. «Но Шатков обладал не только сокрушительным ударом – техника его была блистательна, – писал чемпион токийской Олимпиады Валерий Попенченко. – Боксер-новатор, боксер-интеллектуал всегда вел на ринге тонкую и умную тактическую игру. Сочетание специфической, одному ему присущей мягкой вкрадчивой манеры, гипнотизирующей противника своей обманчивой медлительностью, с внезапным взрывным ударом делали Геннадия Шаткова опасным для любого противника».

В день встречи Шаткова в студенческом общежитии к нам нагрянули гости из соседнего рабочего общежития. Обычно они заправлялись перед танцами спиртным и, разгоряченные хмелем и близостью молодых женских тел, задирали будущих законников и дрались под истошные вопли партнерш...

Пришли они и в этот раз, понятия не имея, кого мы принимаем в тот вечер. Шатков уже заканчивал рассказ о Мельбурне, когда шум, доносившийся из вестибюля, вынудил ведущего прервать встречу. В вестибюле уже вовсю махались строители и студенты. Одному из наших разбили лицо, у нападавших были кастеты и ножи, вахтерша тщетно набирала номер дежурного милиции, наши парни, подняв стулья, пытались оттеснить хулиганов к входной двери.

Драка переросла бы в побоище, если бы не Шатков. Он один сохранял спокойствие в этом взбаламученном море. «Спокойно, ребята, – сказал Шатков. – Оставайтесь на месте, я сам с ними разберусь». И разобрался. Без единого удара. Сказал незванным гостям, что он чемпион Олимпийских игр в Мельбурне по боксу и посоветовал им идти домой подброду.

Тогда я и увидел совсем близко веселые глаза мужественного человека, которого не победить...

Через двадцать три года, весной восьмидесятого, распоясавшиеся хулиганы не послушались правоведа, юриста Шаткова, и им пришлось на собственной шкуре испытать силу и молниеносность его сокрушительного удара. Дело было в дачном кооперативе Сады. Пятеро поддавших «дембелей» куролесили в соседних поселках и в конце концов заявили в Сады, где доцент кафедры спортивных единоборств лесгафтовского института физкультуры строил для жены Тамары, преподавателя инженерно-строительного института, дочери Аллы, ее маленького сына Вити Набутова (Алла была замужем за сыном выдающегося радиокomentатора Виктора Сергеевича Набутова Кириллом, ставшим известным телевизионным комментатором), летний дом с верандой и кухню, а пока жил в вагончике, долго не брился, ходил в спортивных штанах и майке и после первого инсульта ничем не напоминал победительного красавца времен Мельбурна. Да и был он в два раза старше, чем в пятьдесят шестом.

Ночи в конце мая стояли светлые, Шатков собирался спать, когда к нему прибежала испуганная соседка: «Геннадий Иванович, спасайте, мужа моего хулиганы убивают...»

Натянув заляпанные краской штаны, Шатков выскочил из вагончика, перебежал через дорогу и увидел, как пятеро амбалов, подстрекаемых пьяной бабой, избивают кольями и велосипедной цепью соседа. Приблизившись к ним, Геннадий Иванович потребовал, чтобы они прекратили безобразничать, иначе он, боксер, накажет их. Парни заржали, а самый наглый из них, на голову выше Шаткова, шагнул к нему и начал надвигать свою ручищу в небритое лицо пожилого мужчины. Это была стратегическая ошибка Длинного: прямой удар противника боксер Шатков встречал молниеносным левым боковым в челюсть... Соседа спасли в больнице, Длинного Шатков с подоспевшим комендантом связали, и Геннадий Иванович отвез его на своих «Жигулях» в больницу. На следующий день и всю разбежавшуюся шайку задержала милиция.

Часть речи

Взорвавший мозг удар, именуемый в медицине стволовым insultом, лишил движения и речи человека, который еще в отрочестве выписал в дневник мысль Гете: «Человек от отсутствия опасностей мельчает». Он и в юриспруденцию пошел, и боксом занялся, чтобы научиться владеть собой (в детстве был очень горяч), говорить вразумительно, размеренно, чтобы отстаивать справедливость, что невозможно, если не можешь хорошо говорить и мыслить. «...Жизнь, которой, / как дареной вещи, не смотрят в пасть, / обнажает зубы при каждой встрече. / От всего человека вам остается часть / речи. Часть речи вообще. Часть речи...»

Шаткову предстояло спасти себя от перехода в животный мир, как в процессе эволюции Homo sapiens – человека разумного спасла от вымирания речь. Человек, наделенный

речью, способностью к обучению, накоплению знаний и впечатлений, постепенно собирает себя, становится целостной личностью. Собираение себя не затухает в не устающем развиваться человеке до гробовой доски.

Геннадий начал собирать себя в отрочестве, когда в сорок седьмом записался в секцию бокса Ленинградского дворца пионеров к тренеру Ивану Павловичу Осипову, своему единственному тренеру на протяжении боксерской карьеры, когда зачитывался рассказами и романами Джека Лондона и трехтомной «Историей дипломатии» под редакцией Потемкина. Он работал по системе Мартина Идена, мало спал, никогда не торопился, не терял впустую ни минуты, строго соблюдал распорядок дня, стремился доказать матери, госпитальному врачу, и отцу, доценту инженерно-строительного института, что бокс не драка, и главное на ринге – уметь думать... Жизнь, естественно, вносила свои коррективы в планы советского Мартина Идена – в частности, он не поехал в Институт международных отношений. На семейном совете отец Иван Григорьевич сказал: «Зачем тебе уезжать в Москву, если в нашем университете на юридическом факультете есть отделение международного права? Да и с боксом, кажется, ты не собираешься расставаться, а ведь тренер твой – в Ленинграде...»

Щедро одаренный от природы, Геннадий Шатков успешно продвигался и по спортивной, и по научной лестнице. Проведя на ринге 227 боев и выиграв из них 215, завоевал олимпийское золото, дважды был чемпионом Европы, многократно чемпионом СССР. Его, кандидата юридических наук, тридцатидвухлетнего доцента кафедры «Теория и история государства», пригласил на должность проректора ЛГУ по работе с иностранными студентами возглавлявший университет академик Александр Данилович Александров. Легендарный ректор, любимый студентами и конфликтовавший с властями, мастер спорта по альпинизму, сказал легендарному олимпийцу: «Работа очень беспокойная, ни один из ваших предшественников больше полугода не выдерживал. Вы – человек здоровый. Уверен, вас хватит надолго».

Не для бокса родившийся

Шаткова хватило на пять лет каторжной работы по шестнадцать часов в сутки, когда ни одного дня не проходило без разрешения острых конфликтов в студенческих общежитиях. 3 июля 1969#го, когда он с Тамарой Михайловной собрался в первый за пять лет отпуск (они должны были уехать на юг рано утром на машине), у него пошла кровь из горла и носа.

«Я внезапно, будто меня кто-то разбудил, проснулась среди ночи и вижу, что Гены рядом нет. Я рванулась в другую комнату, он лежал весь в крови, кровь пошла из горла и носа, и был без сознания. Я поняла, что времени вызвать скорую у меня нет, – вспоминает жена Шаткова. – Я набрала в ванной ведро холодной воды и стала прикладывать к его голове мокрые полотенца. Гена пришел в себя после холодных компрессов, пытался что-то сказать, но не мог. Его увезли в Психоневрологический институт имени Бехтерева, где он пролежал шесть суток без сознания».

Когда он пришел в сознание, но речь не вернулась, врачи вынесли приговор: «Двигаться – будет, говорить – никогда».

Тамара обратилась за содействием к популярному спортивному комментатору Николаю Озерову, с которым Шатков когда-то вел телевизионные репортажи с европейского боксерского чемпионата, и Николай Николаевич устроил чемпиона-проректора в Институт неврологии в Москве, где тот пролежал целый год. После четырех месяцев, прошедших с июльской ночи, он по утрам в любую погоду пробегал по семь километров, и каждый день доктор-логопед Марианна Константиновна Шохор-Троцкая занималась с ним восстановлением речи.

Это была, по словам Геннадия Ивановича, казнь египетская. По восемь часов в день он выводил-выпевал неслушающимся горлом, неворочающимся языком, такие сладкозвучные, но такие мучительные для его расстроенного аппарата речи гласные «а», «и», «о», «у», «ы», «э», перекачивал булжники согласных, сопрягал звуки в слоги, складывал из отдельных слогов слова. По восемь часов ежедневно в течение года в неврологическом московском институте с помощью доктора и многие годы самостоятельно дома, в Ленинграде.

Через десять лет профессор, светило медицины, помнивший, каким был Шатков сразу после инсульта, резюмировал в специализированном журнале: «Личность победила болезнь». Мировой неврологии, отметил он, известны всего два случая восстановления и возвращения к творческой деятельности после таких тяжелых инсультов: это французский физиолог Луи Пастер и ленинградец Геннадий Шатков.

Собирание в целостную личность, способную сопротивляться ударам судьбы, человек ведет всю жизнь. И один-то раз собравший себя в творческую, самостоятельно мыслящую личность достоин уважения. Что же сказать о том, кому выпало проделать этот труд трижды?! В конце апреля 1988-го у него случился второй, а в начале мая того же года третий стволовой инсульт.

И снова больница, снова уроки ходьбы и бега, снова уроки родной речи. Почти сорок лет каждый день Шатков начинал с зарядки, пробежки и двухчасовой артикуляционной гимнастики. И работу не прекращал: консультировал студентов и аспирантов, вел семинарские занятия с будущими юристами, учил искусству бокса студентов-лесгафтовцев, писал научные статьи и книги. В воспоминаниях «За гранью ринга», вышедших в свет за четыре года до смерти Геннадия Ивановича, сказано: «В одной из своих книг я написал когда-то: «Сила нужна, чтобы стать хорошим человеком». Боже, каким же наивным я тогда был: сила, оказывается, была мне нужна, чтобы просто стать человеком».

К семидесятилетию великого боксера газета «Невское время» в мае 2002 года напечатала мой очерк о Шаткове – «Не для бокса родившийся». Я считал, что Геннадий Шатков был задуман, замыслен, создан для чего-то большего, чем стать мастером ринга, олимпийником: венками из ветви оливы эллины награждали и тех атлетов, кто бегал, прыгал, боролся, участвовал в кулачных боях, совмещая атлетику с основными занятиями – философией, поэзией, математикой, астрономией, законодательством.

Олимпиец Шатков не только наносил удары, которые сначала чувствуешь, а потом замечаешь, он был наделен даром речи как писатель, прирожденный оратор, ученый-гуманитарий. Людей его масштаба, чести и благородства, остро не хватает на нашем Олимпе – политическом, научном, спортивном. В свое время руководители Всесоюзного спорткомитета пригласили молодого перспективного проректора одного из крупнейших отечественных университетов страны, ученого-юриста, досконально знающего спорт, на должность заместителя председателя спорткомитета по науке – предложение было лестное, и в Москве, и в Ленинграде вопрос считали решенным, но воспротивился – по причинам, ничего общего не имеющим с интересами дела, – горком партии в лице одного из его секретарей, и руководители союзного спорта отложили вопрос с приглашением Шаткова в Москву до лучших времен...

Времена, однако, наступили не лучшие. Вскоре после неожиданного удара партийных бонз Геннадия Ивановича и сразил инсульт...

Очерк о человеке, не для бокса родившемся (некоторые специалисты были противоположного мнения, так известный тренер и боксер Б. Г. Тихонов писал: «Один из великих боксеров своего времени Геннадий Шатков – тихоня и интеллигент – никогда не стал бы боксером, если бы не был им... от рождения»), я начал с фильма, как на заре российского кинематографа называли кинокартины, «Не для денег родившийся», снятой по мотивам романа Джека Лондона «Мартин Иден», главную роль в ней играл Владимир Маяковский.

В середине прошлого века эту роль мог бы сыграть Геннадий Шатков, воплощение альтруизма, бескорыстия и – чем часто обделены носители этих благих качеств – стальной воли и силы духа. Герой Джека Лондона, одержимый творчеством, человек чистой души и высокого строя мысли, вытащивший себя со дна жизни, был по внутренней сути близок Геннадию.

Не для денег родившийся – знающие Шаткова спорить с этим не будут. Вот уж кому, как писал Владимир Маяковский, и рубля не накопили строчки, строчки книг о боксе и юриспруденции. С другим моим утверждением, подозреваю, многие, знающие бокс и Шаткова, не согласятся. Не буду спорить со специалистами. Объясню, что имел в виду, когда утверждал, что гроссмейстер ринга не для бокса родился.

Одну сторону дела я уже обрисовал: Шатков был задуман для более всеохватного поприща – сложись его жизнь по-другому, из него мог бы получиться крупный администратор, организатор спорта и науки в масштабах страны, политический руководитель.

Другое объяснение чисто психологического свойства. Я думаю так совсем не потому, что Шатков слишком умен и интеллигентен для такого brutального мужского занятия, как бокс. От своей деятельности человек должен получать удовольствие – не так ли?.. А о каком удовольствии можно говорить, когда вы, сбив соперника разящим ударом, первым бросаетесь к нему и помогаете отвести (отнести) нокаутированного коллегу в красный (синий) угол ринга? Что за удовольствие, когда вы, обнаружив в визави не самого умелого бойца, вынуждены бить вполсилы, чтобы его родители или молодая жена получили сына (мужа) в более-менее пригодном для дальнейшей жизни виде?..

Бомарше, как говорит пушкинский Сальери, слишком был смешон для ремесла такого, то бишь для отравления соперника. Шатков был слишком добр для ремесла, где ему пришлось укладывать, как полена в поленицу, молодых сильных мужчин, вознамерившихся состязаться с ним в беспощадном обмене ударами. Геннадий что-то в себе преодолевал, поднимаясь на ринг, а к концу спортивной карьеры просто-напросто тяготился боксом...

У тех, кто пишет, что Шатков был боксером от рождения, своя правота. У меня – своя. В майский день, когда вышел номер газеты, Геннадий Иванович сказал мне: «Ты попал в точку».

«А как у вас с величием души?»

Мало кого из своих спортивных героев я любил так, как Геннадия Шаткова, начавшего жизнь 27 мая 1932 года и снова и снова начинавшего ее в июле 1969#го, в апреле и мае 1988#го. По словам Альберта Эйнштейна, «человек начинает жить лишь тогда, когда ему удается превзойти себя».

Превзошедший самого себя Геннадий Шатков был веселым, азартным человеком и этим походил на другого деда своих внуков Виктора и Петра, родившихся уже после смерти Виктора Сергеевича Набутова.

– Я знал Виктора Набутова-старшего немного, приходилось встречаться – ого-го!.. Вначале мы с ним поработаем-поработаем, я ему что-то рассказывал, он записывал мои ответы на магнитофон, – работа у Виктора, настоящего профессионала, неизменно была на первом месте, ну а потом и погуляем, не без того...

Я нередко бывал в доме на Гаванской, где жили Геннадий и Тамара, ходил с ним на Фонтанку, во Дворец пионеров, где с 1973#го ежегодно проходил турнир на приз Шаткова. Одно поколение сменяло другое, Дворец пионеров стал называться Дворцом творчества юных, но благоговейное чувство юных к человеку не сдавшемуся, человеку великой души помогло ребятам, прошедшим шатковские боксерские университеты, стать сильными и хорошими людьми. Я разговаривал с этими ребятами, а однажды прочитал нескольким победителям

турнира стихи Бориса Слуцкого: «А как у вас с величием души? Все остальное, кажется, в порядке, / Но, не играя в поддавки и прятки, / Скажите, как с величием души? / Я знаю, это нелегко, непросто / – ответить легче, чем осуществить. / Железные канаты проще вить, / но как там в отношении благородства?» Прочитал и попросил ребят назвать самые запомнившиеся им поступки и мысли Шаткова. И услышал:

– Спорт не прощает тех, кто пользуется силой и умением в корыстных целях.

– Когда он спас от гибели соседа по даче, справившись один с пятью хулиганами.

– Шатков, когда ему случалось боксировать с заведомо слабым противником, не завершал поединок нокаутирующим ударом, считая недостойным лишний раз подчеркивать свое превосходство.

Немало времени мы потратили, готовя беседу для газеты «Правда», где Шатков вынес на обсуждение общественности вопрос о необходимости принятия всесоюзного Закона о физической культуре и спорте. Публикация нашей беседы 2 февраля 1987 года под заголовком «Законы спорта и закон о спорте» вызвала множество откликов читателей. К сожалению, дальше разговоров дело не пошло, может быть, потому, что Шатков в подходе к этой животрепещущей проблеме опередил свое время...

Когда я приезжал в Сады, то мы пили чай и разговаривали о жизни на дачном участке Шатковых посреди двора за столом под березами. Он посвящал меня в тайны бокса, там же, в Садах, написал письмо Альгирдасу Шоцикасу, главному судье боксерского турнира Всесоюзной спартакиады школьников в Каунасе, с просьбой принять меня «по высшему разряду». Алику, как звал Геннадий своего давнего друга, принадлежит превосходная формула благотворного воздействия бокса на юного человека: «Из мужчины по рождению бокс делает мужчин по факту».

О чем и о ком только мы не говорили, но, пожалуй, чаще всего возвращались к его бою в 1960 году на Олимпийских играх в Риме с Кассиусом Клеем, вошедшим в историю как Мохаммед Али.

Бой в Риме

Однажды – если быть точным, 4 октября 1997 года – Шатков поддался на мои уговоры и рассказал на магнитофон о своем поединке с восемнадцатилетним чернокожим американским боксером Кассиусом Клеем, сложенным, как Аполлон, порхавшим по рингу, как бабочка, и жалившим, как пчела (это его позднейшая самохарактеристика, вполне объективная, по мнению соперника), ставшим в вечном городе олимпийским чемпионом в полутяжелом весе.

– Я был единственным советским боксером, кто встречался с Кассиусом Клеем на ринге. У него была очень трудная жизнь, но несмотря на травлю, которой он подвергался у себя на родине, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, он все сумел преодолеть – и остался победителем. Жизнь Клея – Мохаммеда Али и на ринге, и за канатами ринга – это торжество человеческого духа.

Мой соперник в четвертьфинале олимпийского турнира в Риме был на девять лет моложе, на пятнадцать сантиметров выше и на пять килограммов тяжелее меня. В интересах команды, по настоянию тренеров, я перешел из своего второго среднего веса в более тяжелую категорию. Воду пришлось пить графинами, но более чем на 76,1 килограмма не напил. Зато после водопоя чувствовал себя не в своей тарелке, не было прежней легкости в перемещениях. Тем не менее первый раунд прошел в моих непрерывных атаках и контратаках американца. Мой секундант, старший тренер сборной СССР Сергей Щербаков кричал мне в перерыве – шум в переполненном восемнадцатитысячном дворце стоял

адский: «Все хорошо, Гена! Сейчас поработай вплотную, не жди, что он пойдет вперед, не дождешься, мальчишка тебя боится».

Клей, о чем я узнал позже, видел в кинохронике, как я нокаутировал в Мельбурне чилийца Тапиа и на рожон в нашем бою не лез, держал меня на дистанции, используя преимущество в росте и скорости, изредка доставая меня одиночными ударами. Они не причиняли мне особого беспокойства, но судьями учитывались. Разорвать дистанцию, навязать ближний бой длиннорукому и феноменально быстрому американцу у меня не получалось. Во втором раунде шла равная борьба, а в третьем я пытался боковыми ударами попасть в голову, но тщетно. И тогда я пошел в клинч, но это уж совсем не мой стиль...

В общем, имея все шансы на вторую золотую олимпийскую медаль в своем «родном» весе, я остался без золота, как и Евгений Феофанов, проигравший в полуфинале поляку Тадеушу Валасеку. А Клей в финале в пух и прах разбил трехкратного чемпиона Европы грозного Збигнева Петшиковского. Наш же бой с американцем специалисты назвали поединком равных, в котором судьи дали моему сопернику победу по очкам. Да и сам Мохаммед Али не раз потом признавался, как нелегко далась ему победа над очень техничным русским боксером. Через четверть века после римской Олимпиады мы встретились и обнялись с ним на празднике бокса во Дворце спорта ЦСКА в Москве. Глядя на могучую фигуру лучшего тяжеловеса мирового бокса, признанного атлетом номер один США в двадцатом веке, подумал: «И как только я мог боксировать с этим гигантом?!»

...Из наших с Шатковым посиделок в Садах мне особенно запомнился летний день восьмидесятого, в канун московской Олимпиады, куда триумфатор Мельбурна был приглашен в качестве почетного гостя. Надев очки, он читал привезенные мной из дома Набутовых телеграммы, датированные июлем 1969 года: боксеры, журналисты, преданные болельщики Шаткова, огорченные вестью о его тяжелой болезни, выражали уверенность в том, что железный организм и несокрушимая воля чемпиона победят недуг...

День был ясный, солнечный. Солнце пробивалось сквозь полог листьев, узорчатыми пятнами покрывало стол и лицо Шаткова. Прочитав телеграммы, которые ему одиннадцать лет назад зачитывали жена и дочь, Геннадий Иванович осторожно положил бумаги на столешницу и долго молчал...

Летний день с Шатковым в Садах, в канун открытия Олимпиады в Москве, соединился в памяти с церемонией зажжения огня на Олимпийских играх в Атланте. Американцы, хозяева летних Олимпийских игр 1996 года, доверили зажечь олимпийский огонь в Атланте сопернику Шаткова на олимпийском ринге Рима Кассиусу Клею – Мохаммеду Али – и он, страдающий болезнью Паркинсона,двигающийся по ступенькам лестницы нетвердой поступью, сжимающий в дрожащей руке факел, отказавшийся служить в воевавшей во Вьетнаме американской армии, потомок американских рабов, боровшийся с расовой дискриминацией, зажег олимпийский огонь и стал кумиром всех людей независимо от цвета их кожи – героем человечества.

Церемония зажжения олимпийского огня в Атланте, пусть на мгновение, объединила, сплотила миллиарды телезрителей, потрясенных триумфом человеческого духа. Не забыть и реакцию на высшую точку этой церемонии тогдашнего президента США Билла Клинтона: «Наступило время, когда американцы должны высказать свою благодарность человеку, давшему им так много».

Наступит ли время, когда сопернику Мохаммеда Али, равному ему по величию души и уменью с веселой отвагой выдерживать удары судьбы, наша власть скажет свою благодарность?.. Я задал этот вопрос в 1996#м в общероссийской спортивной газете, но не был услышан.

За победу в Мельбурне Шаткова наградили орденом Ленина. Первый президент России Борис Ельцин назначил Шаткову и еще шестерым питерским «олимпионикам» персональ-

ные пособия в размере десяти минимальных оплат труда. Но не о деньгах речь, не о наградах. Неужели никому из питерских москвичей, правителей современной России, никому из городских законодателей, спрашивал я в петербургском аналитическом еженедельнике «Дело» 21 мая 2007 года, не приходит в голову, что они живут в одном городе, в одной стране не просто с героем современного спорта, а с великим человеком, давно уже достойным называться почетным гражданином Санкт-Петербурга?..

Иосиф Бродский, родившийся, как и Шатков, в майские дни, но восемью годами позже, видевший заслугу своего поколения в том, что оно не дало сталинизму окончательно опустошить души людей, уже став нобелевским лауреатом, в выступлении на стадионе перед выпускниками Мичиганского университета 18 декабря 1988 года выразил символ веры нашей поколенческой когорты: «Старайтесь уважать жизнь не только за ее прелести, но и за ее трудности. Всякий раз, когда вы в отчаянии или на грани отчаяния, когда у вас неприятности или затруднения, помните: это жизнь говорит с вами на единственном хорошо ей известном языке... Какой бы исчерпывающей и неопровержимой ни была очевидность вашего проигрыша, отрицайте его, покуда ваш рассудок при вас, покуда ваши губы могут произнести: “Нет”. Старайтесь помнить, что человеческое достоинство – понятие абсолютное, а не разменное, что оно несовместимо с особыми просьбами, что оно держится на отрицании очевидного».

И в декабре 1988#го, когда Иосиф Бродский произносил речь на стадионе в Энн-Арборе, и в январе 2009#го, когда мы прощались с Геннадием Шатковым на Смоленском кладбище Васильевского острова, и сегодня мы отрицали и отрицаем очевидность нашего проигрыша, помним, что человеческое достоинство, как и человеческое благородство, – понятие абсолютное. Помним и то, как много всем нам дал Геннадий Иванович Шатков. В каждом несломленном, несдающемся, не согласном признать проигрыш есть шатковское начало. В эпоху торжествующей серости, опасного понижения духовной стоимости человека люди чести, мужества, благородства и достоинства необходимы, как воздух.

2013

Самопожертвование

Петрозаводск, январь 65#го

Первый раз я написал о Платонове в январе 65#го в «Советском спорте», единственной в стране центральной спортивной газете.

Тогда в нашей стране все было единственным: одна партия, один сорт колбасы, один – сыра, один – пива. Конечно, в Москве, где в Столешниковом переулке неподалеку от памятника Юрию Долгорукому и главного «Гастронома» столицы и всего Советского Союза – Елисеевского – жили мои родственники, прилавки ломились от языковой, телячьей, особой, ливерной яичной, «советской» твердокопченной и прочих колбас, осетровых ба лыков, швейцарского, краснодарского, голландского, «советского», костромского сыра. И пиво в Москве и Ленинграде было не только жигулевское – портер, мартовское, ленинградское, рижское...

В Петрозаводске, моем родном го роде, куда я вернулся после окончания Ленинградского университета, в открытой продаже были один-два сорта колбасы – отдельная и докторская, один-два сорта сыра – российский и голландский, а из пенных напитков одно жигулевское. Его сметали с прилавков мгновенно, набивая «авоськи» десятком бутылок, его про давали в театральных буфетах и в перерывах заседаний сессий Верховного Совета Карельс кой АССР, специально завозили в дома культуры по случаю каких-то спецмероприятий типа выездного заседания секретариата Союза писателей Российской Федерации, гимнастического матча Россия – Финляндия, чемпионата СССР по волейболу в высшей лиге...

Дом физкультуры, где играли лучшие волейболисты страны и мира (тогда мы были впереди всех на планете в области балета, освоения космоса и в самой распространенной на свете игре с мячом – волейболе), примыкал к редакции республиканской ежедневной газеты «Ленинская правда», откуда я в тридцатипяти градусный мороз совершал стремительные пробежки на волейбол и обратно, ибо вел номер как дежурный секретарь газеты, писал репортажи в номер «Ленправды», а ночью – отчеты для Москвы... Сейчас удивляюсь одному: когда же я спал и когда смотрел волейбол в исполнении

Мондзолевского, Сибирякова, Буро бина, Качаравы, Кравченко, Саурамбаева, Гайкового, Платонова?..

И самое удивительное – когда успевал проглотить пять (шесть, семь) холодных, как онежский лед, бутылок жигулевского, а потом полночи сидеть в гостинице «Северная» и слушать великолепную «травлю» за волейбол и жизнь тренера одесско го «Буревестника» Марка Барского (с одесситами я тогда особенно сдружился), остроумные, с подначкой рассказы держащегося особняком, чуть надменно, гордого потомка грузинского княжеского рода Гиви Ахвледиани, на ставника ЦСКА; два или три раза посидели в гостиничном ресторане с другом моего первого тренера Василия Акимова – Николаем Михеевым...

Ни Геша Гайковой, против которого я одиннадцатью годами раньше играл за Петрозаводск на матче четырех городов на Зим нем стадионе, ни Вячеслав Платонов в круг моего тогдашнего общения не входили. Оба выступали за ленинградский СКА, продувший все встречи в петрозаводском туре чемпионата страны; на фоне тогдашних грандов – одесситов, московских армейцев, казахстанцев – наследники замечательной команды Ульянова, Воронина, Эйнгорна, Михеева выглядели бледно. Матчи с их участием организаторы ставили на утренние часы, казалось, ленинградские армейцы спят на ходу. Публика их освистывала, с балкона Дома физкультуры кричали: «Про снитесь! Не позорьте Ленинград!..»

Волейбольный диссидент?

Я спрашивал Василия Филипповича Акимова, что с нашей любимой командой (она приезжала в Петрозаводск в конце сороковых и произвела на петрозаводчан грандиозное впечатление) стряслось и почему Николай Сергеевич Михеев не встряхнет своих орлов... «Квасят орлы, – вздыхал Василий Филиппович. – И первый в этом Гена Гайковой, которым ты так восхищаешься. Один только Славка Платонов бьется, как рыба об лед».

Видя, что Михеев не справляется с командой, и желая помочь СКА, я передал в «Советский спорт» большой отчет, где «врезал с носка» армейцам, приведя в пример их товарища по команде Вячеслава Платонова – единственного, кто бьется до конца, кто летает над крашенным охрой по лом петрозаводской площадки, доставая в падении мертвые мячи, врезаясь в сидящих по периметру тесного зала

«болельщиков», кто проламывает «крюком» блок, пытаюсь пробудить, заставить сражаться остальных...

И теперь, когда Вячеслава Платонова, легендарного человека игры, признанного Международной федерацией волейбола одним из лучших тренеров XX века, введенного в Зал мировой волейбольной славы американского города Холиока, места рождения волейбола, уже нет с нами (Вячеслав Алексеевич умер от неизлечимой болезни 26 декабря 2005 года), когда он приходит ко мне в снах и спрашивает: «Какие новости?» – я вспоминаю Петрозаводск шестьдесят пятого. Январскую стужу, ледяное «Жигулевское», байки Барского, бывшего пасовщика с гибкими, сильными пальцами пианиста-виртуоза, подначки Ахвледиани, обстоятельные рассказы хмельного Михеева и бьющегося, как рыба об лед, Платонова, единственного в своих командах – клубных и сборных, кто никогда не выкидывал на ринг площадки белое полотенце, кто сражался до последнего патрона, до последнего вздоха. Единственного, кто трижды возвращался на капитанский мостик национальной сборной своей страны. Единственного из всех советских тренеров и спортсменов-олимпийцев, кто отказался публично поддержать принятое на самом верху, на Старой площади Москвы (там размещался Центральный комитет партии), решение о бойкоте Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе...

Потом держащие нос по ветру борзописцы, меняющие убеждения и принципы с легкостью необыкновенной и писавшие о звездной болезни выдающегося тренера (мол, вся рота в ногу идет, один он не в ногу), стали его возвеличивать: «Волейбольный диссидент Платонов не испугался чиновников со Старой площади...» Слава брезгливо морщился, читая и слыша о себе подобное. Диссидентом он не был. Ленина читал и уважал. Кроме всего прочего, он ведь родился 21 января, в день смерти вождя, что дало повод остроязычному баскетбольному тренеру Владимиру Кондрашину называть его «Лениным мирового волейбола».

В мире спорта Платонов был и остается самым близким мне человеком, которого я чувствовал и понимал, как чувствуют и понимают только братьев по духу, людей одной страсти и веры. Мы дружили с ним тридцать лет, с того дня, когда он впервые пришел ко мне на Литейный, в редакцию журнала «Аврора», мы проговорили пять часов и условились, что через месяц я приеду в подмосковный Новогорск, в учебно-тренировочный центр сборных команд СССР, собирать материал для документальной повести и фильма «Уравнение с шестью известными» – о мужской сборной Советского Союза,

которую доверили возглавить недавно вернувшемуся из Кувейта наставнику ленинградского «Автомобилиста» тридцативосьмилетнему Вячеславу Платонову.

Ленинград, лето 77#го

Мне польстило, что Платонов помнит мои репортажи в «Советском спорте», хотя, по его словам, он пережил немало неприятных минут, когда я поставил его в пример всем остальным и тем самым противопоставил одного игрока – команде, что неверно в принципе. В той нашей лет ней, авроровской, беседе, записанной мной на магнитофон, содержалась, как я теперь пони маю, программа Платонова по возвращению Советскому Союзу командной высоты в мировом волейболе, выстрадавшие им, игроком и тренером (к тридцати восьми его тренерский стаж ис числялся двадцатью годами: он играл и параллельно тренировал) мысли об игре.

«В игре – волейболе, футболе, баскетболе, хоккее, гандболе – один игрок не в состоянии вытащить за волосы тонущую команду. Волей бол в этом плане наиболее показателен. Это игра не просто командная – артельная. Здесь, как нигде, непреложно правило: “Сам погибай, а товарища выручай”. “Я” в моих командах всегда была и будет последней буквой алфавита. Команда – это всегда “мы”. Мы – команда. Вот вы спрашиваете, с чего я начну, придя в сборную страны, где собраны лучшие, сильнейшие, на мой взгляд, в своих амплуа игроки мирового волейбола – Савин, Зайцев, Лоор, Селиванов, Чернышев, Дорохов... Все думают, я буду менять игроков. Как бы не так, я буду менять не игроков – игру. Если лучшая по подбору мастеров национальная команда проигрывает в фи нале Олимпийских игр в Монреале великолепной, но уступающей нам по подбору, классу, выучке игроков сборной Польши, значит, дело не в игроках, а в игре, в том, как она поставлена, в том, на что делает ставку тренер. Прежний старший тренер Юрий Чесноков во главу угла ставил силу, говоря: “Дайте мне двух сильнейших угловых нападающих, и я обыграю всех на свете!” И что? У него было два могучих “угла” (так на волейбольном жаргоне называют игрока, атакующего с высоких передач на краю сетки. – А. С.) – Ефим Чулак и Владимир Чернышев, но полякам, действующим на площадке более хитро, изобретательно, такти чески разнообразно, мы все же уступили. Хоть и говорят, что против лома нет приема, я всегда прошу эту мудрость договаривать до конца: “Против лома нет приема, кроме другого лома”... Нет, не силой-ломом надо переламывать и перемалывать вражью силу, а умом и ловко стью, тактической сметкой.

Мы, тренеры, постоянно решаем одно уравнение, уравнение с шестью известными. Его, кстати, решить гораздо труднее, чем с шестью не известными. Известные, талантливые игроки – люди с характером, норовом, со своим пониманием игры и жизни. Задача тренера – соединить в одно целое шесть волей, шесть характеров, шесть разумений. Мы должны быть сильнее всех своим единством, понимаете? Работать с талантливыми людьми, какие сейчас в моем распоряжении в сборной, по шаблону, трафарету было бы непростительной ошибкой, даже преступлением. Как тренер я обязан в осмыслении игры, путей ее развития быть впереди волейболистов хотя бы на полшага. Когда они поверят в меня, мои идеи, концепции, построения, когда прошедший проверку боем в ленинградском клубе острокомбинационный волейбол с его “крестами”, “возвратами”, “эше лонами”, с блоком уступом станет плотью и кровью игроков сборной, тогда нам сам черт будет не брат, тогда мы побьем и поляков, и фантастически одаренных кубинцев, и румын, и болгар, и итальянцев, принимающих очередной чемпионат мира, и снова, как шестнадцать лет назад в Москве, станем осенью 78#го в Риме чемпионами мира».

Родственные души

Человек увлекающийся, я сразу почувствовал в Платонове родственную душу, хотя не мог не отметить: «Красиво излагает, слишком красиво, чтобы это стало правдой».

Поскольку разговор наш, начавшийся полуофициально, принял к исходу третьего часа доверительный характер, я признался Платонову, что почти двадцать лет назад в Москве, летом 1959 года, во время II летней Спартакиады народов СССР почти целый день выдавал себя за него, Вячеслава Платонова, игрока сборной Ленинграда, ставшей через несколько дней чемпионом Спартакиады. Мы с друзьями по филфаку ЛГУ, окончив университет и получив распределение на работу в газеты от Мурманска до Камчатки и Сахалина, прощались друг с другом в Москве, где у меня была квартира в Столешниковом (тетя Галя и сестра Наташа уехали в отпуск). Здесь же, в Москве, студент нашей второй группы журналистики, гроссмейстер Борис Спасский играл в шахматы за Ленинград на Всесоюзной спартакиаде. С его билетом участника я бесплатно ездил на всех видах транспорта и ходил на все спартакиадные соревнования в свободное от дружеских возлияний время. Однажды, очутившись на трибуне рядом с девушками из сборной Белоруссии (ее, замечу попутно, готовил к турниру в Москве мой университетский тренер Андрей Ивойлов), на вопрос, ка кой вид спорта и какую республику или город я представляю, сказал: «Волейбол, Ленинград», и зачем-то, хотя никто не спрашивал моего имени, представился: «Будем знакомы, Вячеслав Платонов...»

– Почему же вы назвались Платоновым, а не Гайковым или Арошидзе? – засмеялся Платонов.

– Во-первых, потому что они гораздо выше меня, а мы с вами примерно одного роста. Во-вторых, мне всегда были по душе универсалы, умеющие на площадке все...

– Забавная история, если вы ее не выдумали...

Выдумать можно и позабавнее, но жизнь все равно богаче и занимательнее выдумки. В ней много случайностей, нелепостей, но есть и знаки судьбы.

Вряд ли случайно назвал я себя тогда Платоновым, вряд ли совсем случайно пересеклись траектории наших жизней. Что касается Платонова на площадке, мне действительно импонировала его лишенная рисовки, показушности манера держаться и сама игра – самозабвенная в защите на задней линии и мощная в атаке, его «коронкой» был сокрушительный «крюк» правой по опускающемуся блоку: казалось, он зависает в воздухе и бьет акцентированно, с взрывной резкостью. Мне, признаюсь, всегда нравилось то, чего я сам был лишен: азарта и заводки во мне было на целую команду, но азарт иногда захлестывал меня, а Платонов – это было видно невооруженным глазом – игроцкий пыл держал под контролем. Про могучие ноги-толкуны уж и не говорю: вторые такие мощные ноги видел только у Юрия Власова... Я ставил его выше многих корифеев, прописавшихся в сборной, и недоумевал, почему его приглашали только в тренировочный состав...

– Не кипятись, – позже, когда мы подружились и перешли на «ты», осаживал меня Платонов, – я был игроком среднего достатка, как Анатолий Тарасов говаривал...

Жизнь на электрическом стуле

Одни «звезды» постоянно завышают себе цену, у них на грош амуниции и на рубль амбиции. Платонов знал себе цену как тренер («Высадите меня на Марс, и я научу марсиан, если они там есть, играть

в волейбол»), знал, что это высокая цена, но никогда не кичился своими победами, а себя как игрока явно недооценивал. Терпеть не мог тех, кто хвастался, что ногой открывает двери любых кабинетов. Когда надо было помочь игроку, тренеру, массажисту, пускал в ход свое влияние, связи и устраивал, скажем, старшего брата массажи ста «Автомобилиста» Даулета Муратбекова из казахстанского Чимкента, страдавшего тяжелой болезнью сердца, к своему другу профессору Олегу Виноградскому, заведующему кафедрой пропедевтики внутренних болезней Военно-медицинской академии.

Попросить того же Дауле та, мага и чародея массажа, мануальной терапии, остеопатии, сделать себе, главному тренеру, массаж считал превышением служебных полномочий. И когда Да улет, видя, как мучается Платонов (четыре полостных операции за восемнадцать лет тренер ской каторги, жизни на электрическом сту ле – такова цена золотых медалей чемпионов Олимпийских игр, мира, Европы), предложил свою по мощь тренеру, поставившему его на крыло, напитавшему его, паренька из многодетной чимкентской семьи своей мудростью, вдохнувшему в него тягу к знаниям, тот, преодолевая боль, резко оборвал его: «Занимайся игроками, у них завтра ответственная игра...» А сам прилег в тесной тренерской на топчанчике, выпив таблетки, и при крыл лицо ладонью...

И только когда Валя, Валентина Ивановна, жена, самый верный и преданный друг Плато нова, позвонила Даулету и, еле сдерживая слезы, попросила его помочь мужу – «сам-то он ни за что к тебе не обратится», только тогда Даулет – было это в начале лета 97#го – командирским, почти платоновским голосом велел грозному тренеру раздеться и лечь на кушетку, тот неожиданно покорно согласился... Осмотрев больного, Даулет спросил: «Извини те, конечно, Вячеслав Алексеевич, но сколько дней у вас не было стула?» – «Шесть», – ответил страдалец. Даулет нажал на ведомые ему точки, вызвал рвотный рефлекс, и когда насту пило облегчение, снова проделал манипуляции, прекратившие извержение...

Если бы не Валя, если бы не Даулет, если бы не врачи кардиологической клиники Военно-медицинской академии, сделавшие Платонову операцию по поводу аневризмы аорты брюшного отдела и выходившие его вместе с Валентиной Ивановной, мы потеряли бы Платонова девятью годами раньше...

За что Вале такие муки?..

Разгребая на днях свои архивные залежи, приводя в рабочий порядок наши с Вячеславом Алексеевичем записи, составившие основу для двух книг Платонова – «Уравнение с шестью известными» и «Суд над победителями» (я выступал в них как автор литературной записи), наткнулся на свою заявку на сценарий документального фильма «Тренер сборной» для Ленинградской студии документальных фильмов. Начинается заявка почти тридцатилетней давности так: «Во время хоккейного репортажа, когда страсти накалились добела и игроки пошли стен ка на стенку, Николай Озеров философски за метил: “Да, хоккей это не волейбол. Здесь и шагу не ступишь без мужества и атлетизма”».

В волейболе, уважаемый Николай Николаевич, собирался я сказать своим фильмом, то же самое (попав в руки режиссеру Виктору Семенюку, сценарий стал называться «Уравнение с шестью известными»). По степени атлетической нагрузки современный волейбол на высшем уровне занимает одно из первых мест среди игровых дисциплин, а по травматичности опережает бокс и хоккей.

Что касается мужества, то в спорте без него и шагу не ступишь. Без мужества и готовности к самопожертвованию.

Питерский тренер Вячеслав Платонов был наделен этими качествами сполна. Когда весной прошлого года он узнал от врачей о своей неизлечимой болезни, сказал мне, приехавшему к нему брать интервью по итогам сезона «Спартака» на Вязовую, 10, где полным ходом шло строительство Академии волейбола:

— Валю жалко. Я ведь знаю, что она плачет по ночам в своей комнате, а утром как ни в чем не бывало готовит мне завтрак и провожает на работу... За что ей такие муки?..

2006

Петрович

1. Это просто фантастика!

Задание Пинчука

Из всех спортивных зрелищ баскетбол самое фантастическое. Рядом с баскетболом футбол простоват и грубоват, волейбол пресноват и статичен. Я ставлю баскетбол выше любого другого спортивного зрелища и сам когда-то играл в баскетбол, а вот писать о нем долгое время практически не приходилось.

Писал про волейбол, шахматы, футбол, а от баскетбола – балдел, приберегал его, так сказать, для личного употребления. Так и не расстался бы с ним, как ребенок с любимой игрушкой, если бы не Анатолий Пинчук, баскетбольный обозреватель «Советского спорта». Осенью 1966-го он уговорил меня, в ту пору петрозаводского журналиста и нештатного корреспондента «Спорта» по Карелии, слетать в Ригу с Александром Гомельским и мужской сборной СССР. Тогда главной проблемой сборной страны было отсутствие полноценного разыгрывающего. Молодые не тянули, а тридцатипятилетнего Алачачяна Гомельский в сборную не привлекал. «Тебя, Алексей, – сказал мне Пинчук, – никто в баскетбольном мире не знает, ни к одной группировке ты не принадлежишь, и, стало быть, никто не скажет, что ты поешь с чужого голоса и льешь воду на мельницу врагов советского баскетбола. Так что поезжай в Латвию и напиши, как обстоят дела в сборной. Опирайся на мнение профессионалов. В Риге они водятся».

Руководствуясь наставлениями Пинчука, соображениями латвийских специалистов, собственными наблюдениями над сум бурными действиями нашей сборной, которой не хватало железной руки и игровой мудрости Арменака Алачачяна, я сочинил большой материал о баскетбольной икебане – искусстве составления команды, которая не смотрится без виртуозного разыгрывающего, а поскольку таковым в тот период в отечественном баскетболе был только Алачачян, – без Алачачяна. Написал и уехал в дом отдыха журналистов в Варну, так что все громы и молнии после публикации «икебаны» (Гомельский был до крайности возмущен «некомпетентным вмешательством») обрушились на голову Пини.

Об этом я узнал через месяц, приехав в Москву из Болгарии. «Интриги», приговаривает в сходных ситуациях Валентина Ивановна Платонова, жена знаменитого волейбольного тренера, педагог. Толя Пинчук тоже говорил что-то в этом роде – мол, разворошили мы с тобой осиное гнездо, и еще говорил, как хорошо жить в тихом северном городке и не ездить по заграницам, потому как в таком разе никто не перекроет тебе кислород. С этими его утешениями вернулся я в свою Карелию и решил впредь с большим баскетболом не связываться...

Объяснение в любви с нотой печали

Но не тут-то было. Через каких-нибудь двадцать три года (я уже жил в Ленинграде и работал в журнале «Аврора») позвонили друзья из самого боевого перестроечного подразделения «Ленинградской правды» – отдела информации – и попросили назавтра сочинить двести строк о Кондрашине в связи с его шестидесятилетием. «Конечно, если бы был жив Толя...» – сказали мне, и я не обиделся: кто же лучше Толи Пинчука изваял бы «нетленку» о Петровиче. Даже загордился немножко: стало быть, верят в меня, если о самом Кондрашине просят слово сказать, да еще в такой трудный для него час, когда «Спартак» остался

без Кондрашина, пастыря, поводыря, наставителя. Сотворил я «Объяснение в любви с нотой печали», а «Ленправда» напечатала его 14 января 1989#го. Когда признавался в любви к Петровичу, вспоминал Толю. Из всех его героев, героев-соавторов, о которых и с которыми он писал книги (баскетболисты Арменак Алачачян и Геннадий Вольнов, пятиборец Игорь Новиков), о которых сочинял газетные и журнальные очерки, самым близким ему, несомненно, был Владимир Петрович Кондрашин. От интенсивного общения с Петровичем (тут мы с Пинчуком сходились во мнении) может поехать крыша или под этой крышей прорастут две-три мысли – если ими с умом распорядиться, они и в книгу вырастут, и в диссертацию, и в монографию не слабее, чем у американца Джона Р. Вудена.

На этот раз Анатолий Михайлович Пинчук не выписывал мне командировочного удостоверения и не давал редакционного задания пойти к Владимиру Петровичу Кондрашину потолковать о жизни и попытаться набросать его портрет. И хотя он не уполномочивал меня написать портрет Кондрашина, я считаю себя обязанным хотя бы набросать штрихи к его портрету. Как жаль, что Анатолий Пинчук,

великолепный литератор, умница, вечный оппозиционер, баскетбольный Дон Кихот не создал кондрашинский портрет, о чем страстно мечтал, но не успел, сраженный инфарктом на пятьдесят восьмом году жизни.

Судьба тренера и судьба города

Кондрашин был бы великим тренером и в Лос-Анджелесе, и в Белграде, и в Москве. Но он родился, живет и работает в Ленинграде – в «великом городе с областной судьбой» великому специалисту приходится тяжело.

У нас в стране между жизнью в столичной Москве и в провинции – огромная разница. Где густо, а где пусто, в пояснениях не нуждается. Соперничество Ленинграда с Москвой идет не только по линии «густо-пусто», как у остальной провинции, а решительно во всем. Дело не только в прозе житейской, в строго фондируемых благах. Выдающемуся ленинградскому таланту трудно еще и из-за отношения к нему в столице. Неужели надо непременно переехать в Москву или вообще покинуть отечество, чтобы тебя признали и короновали лавровым венком шахматного чемпиона или нобелевского лауреата в области литературы?! Но ведь и пророков, признанных при жизни замечательных мастеров, артистов, музыкантов, шахматистов, ученых, тренеров не жалуем, не оберегаем, не носим на руках... Вот они и уезжают – кто в Москву, а кто и в Америку.

И все-таки замечательные таланты вниманием не обойдены и есть множество людей в городе, кому живется гораздо хуже. Это наша общая боль, и высокочтимые земляки стараются – словом и делом – помочь сирым, бедным, обездоленным, недаром движение милосердия с подачи писателя Даниила Гранина зародилось у нас в Ленинграде. В милосердии нуждается всякая человеческая душа. Талант же нуждается не просто во внимании и признании, а в обожании, в курении фимиама. «Таланту надо помогать, бездарности пробьются сами» – отчеканил когда-то московский поэт Лев Озеров. Как он был прав! Бездарности пробиваются всюду и везде, они похожи на тараканов, их не берут никакие яды, разве что мороз выбьет... А наши ленинградские таланты морозного, ледяного отношения к себе не заслужили. Сабониса Литва на руках носила. А мы – Сашу Белова? А ведь он был гений чистой – баскетбольной – красоты!..

Уже давно, больше десяти лет, нет Саши Белова. А его учитель Владимир Петрович Кондрашин на четвертом году перестройки был отставлен от своего «Спартак», как некогда Ломоносов от Российской академии наук...

Такое вот курение фимиама на питерский лад.

Да, трудно живется-может быть великому тренеру в великом городе с областной судьбой.

Кондрашин был мрачнее тучи

4 октября 1989 года Кирилл Набутов возвестил за кадром – на экране в этот момент показывали Кондрашина на тренировке его команды в «Юбилейном»:

– «Спартак» вновь возглавляет этот всемирно известный человек (тут Кондрашин в свитерке, руки в брюки, стал покачиваться с пяток на носки и что-то насвистывать. – А. С.) со всесоюзно известной привычкой насвистывать в минуты раздумий...

Как рекламный агент Кирилл Набутов вне конкуренции. На следующий день ленинградские баскетбольные «фаны» устремились в «Юбилейный», куда и зазывал их Набутов на первый в нынешнем сезоне матч «Спартака» с донецким «Шахтером».

«Спартак» выиграл, но обычно хмуроватый на игре Кондрашин был мрачнее тучи:

– Разве это высшая лига? Это же уровень первенства города двадцатилетней давности. Правильно говорю?..

Я чуть было не согласился с самобичующимся тренером, но имеющий более долгий опыт общения с Кондрашиным Эрнест Серебренников вовремя встрял в разговор и вроде бы согласился с Петровичем по поводу того, что огня в глазах нынешних молодых маловато, но, с другой стороны, нашел мрачные мысли тренера чересчур мрачными, поскольку команду он принял совсем недавно, а мы-то знаем, что Петрович что-нибудь такое обязательно придумает, от чего и огонь в глазах молодых загорится. Кондрашин только похмыкивал, слушая витиеватые рассуждения телекомментатора, но тучи с его лица уплыли, и он даже заулыбался, впрочем, недоверчиво.

И чело тренера, омраченное неизбывными заботами и неразрешаемыми проблемами, и сетования на стремительно снижающийся уровень игры, на гаснущий в глазах молодых огонь – все было привычным, как вывих плечевого сустава, как привыкли мы жаловаться на неустроенность нашей жизни, в которой одним не хватает порядка, другим – свободы, и все по-своему правы.

Коренной питерец, Кондрашин родился в 1929#м, в год «великого перелома», в блокаду начал работать. «Великий перелом» покорежил всех соотечественников, но самые глубокие раны, самая тяжкая надсада души у детей великого перелома и блокады: глад, мор и хлад – прихватили их в пору завязи, начавшегося было первоцвета, и навсегда отпечатались печалью в их глазах, многообразными хворями-болячками и разнообразными фобиями, в том числе и страхом черного дня. Страх этот живет во многих из нас, на своей шкуре испытывавших и тот хлад, и тот глад, и тот мор. Кого-то этот страх парализовал на всю жизнь, и они, при всей энергичности, жизнелюбии, пребывают во внутреннем оцепенении и не способны ни на какие перемены в себе и вокруг. Другие, напротив, завелись и неистовствуют, требуя ломки всего и вся, подгоняемые тем же страхом. Третьи, хоть и стеноют и жалуются, страх в советчики не берут и пытаются свой земной урок исполнять добросовестно, вопреки стечению неблагоприятных обстоятельств.

Кондрашин из третьих, про кого говорят: глаза боятся, а руки делают. Слава Богу, не перевелись еще у нас делатели-мастера, ими, как известно, дело ставится, и праведники тоже не повывелись, на них земля держится. Впрочем, что это я заговорил о праведниках, когда предмет нашего разговора – человек игры, игрок? А игроки и праведники традиционно воспринимаются как фигуры полярные: у праведника есть за душой святое, а у игрока (в русской классической литературе игроками назывались картежники) ничего святого нет.

Как Петрович расписывал «пулю»

Карты, игральные карты, которые так много значат у Пушкина, Лермонтова, Гоголя, долгие годы были у нас на подозрении. Между тем человек, пожалуй, ни в чем не раскрывается так быстро и полно, как в игре, в том числе и карточной.

Однажды Пинчук поделился со мной своими наблюдениями над расписывающим «пулю» Кондрашиным.

– Как, спрашиваешь, Петрович в преф играет? А как и в баскетбол – от обороны. Если у него на руках восемь взяток, он закажет семерную; если у меня восемь – я закажу восьмерную; а Серега Чесноков³ и с семьей верными рискнет на девятёрную. При таком подходе Петрович сильно никогда не залетит, но и очень много не выиграет. И в баскетболе больше всего ценит надежность, фундаментальность, логичность. Заметь, он не требует от своих игроков риска, не призывает увлекаться трехочковыми бросками. Кстати, когда Петрович сам играл, то прекрасно бросал издали от головы двумя руками. Тогда трех очков это не приносило, но он шел на риск. Впрочем, риском, скорее всего, это не считал: бросок у него был поставлен отменно. И потом, наверное, как настоящий тренер, руководствовался английской спортивной мудростью: «Хочешь быть тренером – забудь, как ты играл». Всяческие экстравагантности в игре ему претят. У него весьма своеобразная табель о рангах: если все вокруг называют талантливого, но пижонистого баскетболиста князем, он считает его плебеем. Таланта не отрицает, но пижонства, стремления пустить пыль в глаза не выносит. Зато Хомичюсом восторгается, потому что тот, как папа Карло, пашет все сорок минут, отрабатывает и за себя и за других. Азарт свой Петрович придерживает. И в баскетболе, и в картах. И там и там он неожиданен и непредсказуем. Питерские друзья Петровича преувеличивают, по-моему, и невозможную сложность его перекрученного характера, и его абсолютную непредсказуемость. А он просто очень умный человек, и как всякий природно умный мужик сложен и непредсказуем. Я однажды с ним в «Стреле» всю ночь в купе проговорил и понял, что уже продуманную мной книгу о нем надо передумывать заново... Сколько нового открылось мне в этом человеке, которого я знал, казалось, целую вечность!

Его сокровенное желание

На роль праведника Петрович не тянет: и в карты играет, и своих подопечных может в сердцах назвать «баранами», и переменчивость в отношениях с друзьями за ним водится, и раздражительным, несправедливым, капризным бывает. Он всегда на виду, он публичный человек, а публичные люди, привыкшие ко всеобщему вниманию и почитанию, хотели бы, чтобы окружающие угадывали их намерения, мысли, чувства. Да и капризом это не назовешь. У каприза эгоистичная природа, это на самом себе замкнутое побуждение-действие. А талантливый тренер, работающий с командой, чьи успехи влияют на настроение тысяч горожан, тренер, бросивший вызов самим родоначальникам баскетбола американцам и впервые в истории, на мюнхенской Олимпиаде, приведший сборную Советского Союза к победе в олимпийском турнире, тренер, перед которым американцы снимают шляпу, заслужил, чтобы с ним считались и даже пытались угадать его желания. Он ведь не «Мерседес» для себя выпрашивает, не квартиру в доме улучшенной планировки, опять же для себя, а элементарные житейско-бытовые условия для своих игроков...

Когда, следуя моде времен демократизации и гласности (в главные режиссеры театра – голосованием; в тренеры клуба высшей лиги – голосованием) ветераны «Спартака» весной

³ Чесноков Сергей Владимирович (р. 1948) – журналист, главный редактор петербургского аналитического еженедельника «Дело» с 1995 по 2008 год, друг В. Кондрашина и его семьи.

1988#го пошли по начальству снимать Кондрашина от имени коллектива, они инкриминировали ему и грубость, и раздражительность, и ухудшение учебно-тренировочного процесса, и невнимание к их, игроков, бытовым условиям, но никто не обвинял его в шкурничестве, непорядочности. Этому Петровичу в вину никто и никогда поставить не мог. Разве что Женя, Евгения Вячеславовна, жена, да Юра, сын, которым, наверное, хотелось бы жить в квартире покомфортнее, вправе на него жаловаться, но они, люди родные, близкие, все видят, все понимают и не ждут, что глава семейства переломит себя и будет ходить по начальству, чтобы выбить приличную квартиру. Может, он и тут надеется, что кто-то расслышит мечту его домашних, угадает его сокровенное желание?..

Вообще-то у него другое сокровенное желание. Я узнал об этом, когда однажды Петрович был у меня дома в гостях, мы засиделись за полночь, он остался на ночь, а когда я пришел будить Кондрашина утром, то застал его обложившимся книгами – по психологии, социологии, философии: «Смотрю, у тебя тут есть полезная литература». Для сведения некоторых дипломированных игроков-учеников Кондрашина и его коллег-тренеров с профессорскими званиями, подозревающих Кондрашина в недостаточной образованности: этот непревзойденный практик, сбивавший с толку оппонентов неожиданными, непредсказуемыми заменами в ходе матча, выписывает кучу периодических изданий, в том числе и зарубежных (сын выучил несколько языков и помогает отцу вести досье), читает много и разнообразно, следит и за «изящ ной» словесностью, и за специальной литературой и быстро утрачивает интерес к собеседнику нелюбознательному, неинформированному, несамостоятельному в суждениях.

Свое сокровенное желание тренер Кондрашин поведал мне на кухне нашего дома-корабля в Шувалове-Озерках во втором часу ночи, когда мы запивали чаем с карельской морошкой привезенных мной из Курильской экспедиции журнала «Аврора» трубочка в собственном соку и морского гребешка в горчичном соусе...

– Я по Америке поездил, посмотрел, как у них баскетбольное хозяйство ведется. Там тренер отвечает за техническую подготовку команды. И всё. В спортивном зале он царь и бог. Остальное его не касается: жильем, машинами и прочей петрушкой занимаются другие. В контракте тренера с клубом предусмотрено и что ты должен, и что тебе должны. Вот как я мечтал бы хоть один сезон поработать! Я же тренер, а не администратор, не замполит, не нянька, не доставала машин, не выбиватель квартир. Я должен тренировать. Я обязан вести игру – если плохо, неквалифицированно это делаю, снимайте меня, прогоняйте. А у нас процентов восемьдесят времени старшего тренера команды мастеров уходит на выбивание-доставание элементарных условий жизнеобеспечения. Что-то выбьешь – надо разделить по справедливости. А это очень трудно, отсюда и недовольство: кого-то ты невольно обидел, кого-то сознательно ущемил, ибо он недорабатывает на тренировках, трусит в игре. Да и далеко не всё от тебя, тренера, зависит, игрок же не желает с этим считаться, ты для него высшая инстанция, ты ему пообещал сносные условия, тебя он и честит, когда вышестоящие начальники не сдерживают своих обещаний...

Подоплекой любого конфликта в нашем большом спорте, конфликта между тренерами и игроками является неупорядоченная правовая основа спорта и всех занятых в нем людей, двусмысленность статуса ложных полулюбителей-полупрофессионалов, процветающие в этих условиях корыстолюбие, меркантильность, стремление загрести побольше сегодня, пока еще ноги носят, пока они не перебиты-переломаны. О какой-либо нравственности при таком положении вещей говорить затруднительно. Но и в тупиковых конфликтах одни люди, даже правые во многом, выглядят не очень красиво, а другие, даже кое в чем не правые, все-таки остаются людьми...

Предательство и месть

— Когда шестнадцать лет без перерыва видишься с одними и теми же людьми, как мы с Павловым и Кузнецовым (с Харченковым поменьше, но тоже немало), естественно, и недовольство нарастает, и надоедают люди друг другу, и конфликты вспыхивают. Конфликты в спорте неизбежны, никуда не денешься. Скажу больше: можно не здороваться друг с другом, даже разодраться, но не копаться в грязном белье, не действовать исподтишка, не сколачивать блоки за спиной, оставаться мужиками. Если бы ветераны обратились ко мне и сказали: «Вы нас больше не устраиваете, вы как тренер себя исчерпали, не можете создать нам приличных материальных условий для жизни и для тренировок», я, честное слово, не стал бы за место держаться, тем более мстить (вдогонку никому никогда ничего плохого не делал, хотя у меня сто вариантов всегда было, смешно даже говорить об этом). Взял бы и ушел. А они двинули к начальству, в отдел спортигр нового профсоюзного спортобщества, и предъявили мне счет. За моей спиной, в моем отсутствии. Это порядочно, да? Они сговорились с Гришаевым, с которым у меня постоянные конфликты были.

Молодые, Генка Щетинин и Королев, потом мне признались: «На нас Павлов давил, чтобы мы проголосовали против вас». Кто и как голосовал, кто инициатором этого голосования был, я, конечно, знаю, но разве в этом дело? Я тогда сказал Леониду Петровичу Шиянову, председателю Ленинградского Совета профсоюзного спортивного общества: «Если коллектив против меня, отпустите меня». Однако долго еще не отпускали, до 15 июля держали, и лишь тогда назначили официально старшим тренером Цедрика. А через четыре дня в «Вечерке» статья против меня появилась. Автор ее, журналистка, на тренировках у меня не была, со мной не разговаривала, и такого наворотила, хоть стой, хоть падай... Кузнецов жаловался: «Он нас блокадой попрекал – вы настоящего горя не видели, он нам рабочий класс в пример ставил – рабочие в шесть утра встают да по морозу в ледяных автобусах и трамваях на заводы добираются и мантулят там по восемь часов за двести целковых, а то и меньше, а вы имеете побольше, а работать не хотите... Обидно это слышать». А чего обижаться, когда действительно не хотят работать? И что же получается: если я говорю бездельнику, что он бездельник, я ему грублю или как?.. Если он при зарубе очко в очко боится на себя ответственность взять, если у него поджилки трясутся, и я ему в лицо бросаю: «Трус», я что – унижаю его?.. Я, пожалуй, принял бы подобные упреки, если бы говорил одно, а сам поступал по-другому – ловчил, отлынивал от работы. Но этого же никогда не было, а утверждения, будто я тренировки пропускал, смеху подобны.

После его ухода из «Спартака» по собственному желанию, но не по собственной воле, мы проговорили с Петровичем в тренерской комнате детской спартаковской спортшколы на Вязовой больше двух часов. И хотя после фактического отстранения-ухода Кондрашина от дел команды прошел почти год, он все еще был выбит из колеи «всей этой травлей» и даже слышать не хотел о возможном возвращении в клуб, хотя с января, вскоре после того, как он отметил свое шестидесятилетие и стал оформлять пенсионные бумаги, с ним и в горисполкоме, и в облсовпрофе завели разговоры о возвращении.

Исповедуюсь, обиженный, оскорбленный в лучших чувствах своими учениками, тренер не поливал их грязью, а старался припомнить то хорошее, что было у каждого из них, то доброе, что их всех объединяло. Это давалось ему не без душевного усилия, но и Гришаева, на которого никто управы не нашел, отметил за то, что тот помимо общих тренировок всегда занимался сам, дополнительно, по своей программе. И Харча (Александра Харченкова) похвалил: «Чистый человек». И для Павлова, Юры Павлова, капитана, подбивавшего, по его мнению, других, более задиристых и хорохористых вроде Генки Капустина катить на него,

Кондрашина, бочку, нашел добрые слова: «Он ведь человек порядочный, нутро у него здоровое, но в последние годы что-то портиться начал – мания величия, что ли, разыгралась...»

И готов был признать Кондрашин, что и его, тренера, есть вина в том, что тренировки стали менее продуктивными, менее интересными, и допускал, что в свое время, в середине семидесятых, когда «Спартак» стал чемпионом страны, сокрушив непобедимый московский армейский клуб, он, Кондрашин, должен был бы выбить у городских властей разрешение на строительство зала для спортигр, которого так не хватает «Спартаку».

И пусть он ошибался, и не всегда был настойчив в отстаивании интересов своих игроков, и, наверное, не всегда гибок и дипломатичен, как скажем, Вячеслав Платонов, к успехам которого он всегда присматривался с ревнивым вниманием, пусть так, Петрович готов с этим согласиться... Но как ему примириться с тем, что его ученики проделали всё тихой сапой, предали его, учителя, которого кое-кто из них считал вторым отцом. Правда, древний мудрец полагал, что, когда дети предают отцов, это в порядке вещей, а вот когда отец предаёт своих детей, это страшно, это всеобщий распад, конец света. Что ж, доверенных и доверившихся ему малых сих он не предавал, так что ничего непоправимо страшного в случившейся с ним истории не произошло. Но ничего не утешало – ни мудрость мудрых, ни радость в глазах сына, не привыкшего подолгу видеть отца дома, ни поддержка жены, советовавшей наплевать и забыть, не рвать сердце, а почаще ездить на дачу и копать в земле, как и положено законопослушному пенсионеру...

Спор с Пинчуком о шахматных чемпионах

Виктор Шкловский ввел в обиход чрезвычайно важное понятие – «гамбургский счет», показатель истинного класса в литературе, искусстве.

У Пинчука свой гамбургский счет. Его интересовал не только и не столько профессиональный класс игрока, сколько человеческая безупречность мастера, чемпиона. Он судил строго, жестко, для него были сомнительны даже выдающиеся творцы, если они дрогнули в час выбора и пошли против совести.

В последний раз мы разговаривали с Толей в спортивно-концертном комплексе в Ленинграде, на открытии футбольного сезона. «Зенит» принимал тогда, кажется, московское «Динамо». Мы давно не виделись с Пинчуком и проговорили всю игру... об игре, только не той бледной, невыразительной, невразумительной, синтетической игре на синтетическом покрытии, а о шахматах. Я о них много лет писал, он в них играл. Старый наш нескончаемый спор: о Спасском и Тале. В свое время я много рассказывал Пинчуку о своем однокурснике по Ленинградскому университету и герое моих документальных вещей Борисе Спасском и его друге, ставшем впоследствии и моим другом, Михаиле Тале. Надо сказать, что, когда мы познакомились с Пинчуком, Таля он обожал и боготворил, Спасским лишь интересовался. Тем более показательна трансформация отношения Пинчука к двум шахматным чемпионам.

– Спасский поступил в высшей степени благородно, когда отстоял свое право на матч с Фишером, когда не воспользовался разного рода нарушениями протокола со стороны американского гроссмейстера перед Рейкьявиком и в начале поединка не прекратил матч, что практически сохраняло ему корону еще на три года, – говорил Анатолий. – Спасский истинный джентльмен и рыцарь, ему противна победа, добытая нравственно сомнительным путем. Что же касается Миши, не могу простить ему участие в карповской бригаде в двух матчах с Корчным, что бы ты ни говорил о совершенно особых обстоятельствах, при которых Таль дал слово Карпову помогать ему в матче на первенство мира с Корчным... Два чемпиона мира на одного претендента – это что, по совести?!

Наш старый, так и не оконченный спор с Толей Пинчуком. По совести? Не по совести? Прав был Михаил Таль тогда, перед Багио, и потом, перед Мерано, согласившись быть тренером-консультантом двенадцатого чемпиона мира? Или не прав? Я и сейчас не могу для себя решить окончательно этот вопрос. Да и не нам, людям со стороны, решать его, а только самому Талю.

Что же касается Бориса, тут у нас с Толей и спора не было. Я-то хорошо знал, сколько нервной энергии сжег Спасский, чтобы настоять, вопреки мнению больших начальников, на своем праве играть матч с Фишером, своей моральной обязанности перед людьми и миром играть матч с самым сильным соперником, отобранным законным путем (вот в этом-то весь Спасский, как в признании этой обязанности высшей ценностью весь Пинчук!).

Кондрашин по этому гамбургскому, пинчуковскому счету всегда у ковра. Его промахи, просчеты, ошибки Пинчук, не склонный ни из кого делать икону, мотал на ус, оприходовал, классифицировал как дотошный документалист-аналитик, объяснял особенностями крученого кондрашинского характера, недостатками воспитания, изношенностью нервной системы, но не нравственной неразборчивостью, не искательством чинов и званий.

Наш старый, нескончаемый спор с Пинчуком – о вине и беде человека, живущего под гнетом нечеловеческих условий, в эпоху двойного бытия как факта нашей эпохи, двоедушия, двоемыслия, когда «добро» и «зло» в системе общественных координат легко менялись местами, когда верховные правители человеческого поведения – совесть, ответственность, стыд – решительно не согласовывались с отечественной практикой насильственного насаждения земного рая. Так можно ли, спрашивал и спрашивал я Толю, в условиях уничтожения морали, ее превращения в антимораль столь строго судить людей, идущих на компромиссы, чтобы выжить, так сурово относиться к ним, выжившим и живущим?.. А он отвечал (и отвечает), что во все, даже самые тяжелые, времена были люди непокорившиеся, негибающиеся, жившие в ладу со своей совестью.

Претензий морального свойства к Кондрашину Анатолий Пинчук не предъявлял. Разве что, как свидетельствует хорошо знавший обоих Михаил Чупров⁴, Пинчук как-то обронил: «Кондрашину дан язык не для того, чтобы что-то сказать, а для того, чтобы что-то не сказать». Я тоже по разным поводам слышал от Толи нечто похожее. Но, во-первых, он был блистательный остролов и говорил об этом шуточно, скорее любуясь Петровичем, нежели осуждая его. А во-вторых, какой же игрок откроет вам все свои карты?..

Удержал корабль на плаву

14 октября 1989 года в спортивном манеже на улице Красного Курсанта в третьей дополнительной пятиминутке спартаковцы Ленинграда вырвали победу в матче чемпионата страны у минского РТИ. Харч, тридцатилетний ветеран Александр Харченков, был в этот вечер королем баскетбола, вдохновенным творцом. Одну пятиминутку спас двумя силовыми таранами-проходами под щит и, соответственно, четырьмя очками, другую – трехочковым броском, совпавшим с сиреной, а в третьей давал такие голевые передачи, что молодым осталось только забивать.

И когда перевозбужденные неслыханной рубкой болельщики после матча бросились поздравлять Кондрашина, он отстранился: «Все поздравления – Харчу. Он сегодня выиграл». Поискал глазами председателя хозрасчетного клуба «Спартак» (дело было уже на улице, перед входом в манеж) и спросил его, нарочито громко, чтобы «локаторы» Харченкова, дававшего автографы в отдалении, засекли: «Там у нас, кажется, в качестве приза

⁴ Чупров Михаил Евгеньевич (1935–2012) – председатель Федерации баскетбола Ленинграда – Петербурга (1988–1996), член исполкома национальной Федерации баскетбола, лауреат Государственной премии СССР в области авиастроения (1984), спортивный журналист.

лучшему игроку сезона определили цветной телевизор? Правильно? Так можно уже сегодня телек Харчу отдать...» И когда потрясенные от инфарктно-инсультной игры любители давно уже покинули зал, когда отпустили Харча охотники за автографами, Кондрашин, посмеиваясь, сказал двум своим верным оруженосцам-журналистам, Мишане и Сереге: «Вчера у них процент попадания с игры был шестьдесят три, а у нас сорок три. Интересно, сегодня мы до тридцати-то дотянули?..»

В марте Петрович говорил мне, что ни за что не вернется в «Спартак». Но летом, когда родной клуб вел почти безнадежную борьбу в турнире восьми за право удержаться в высшей лиге, он наконец не выдержал, поднялся на капитанский мостик тонущего корабля и, совершая одному ему до конца понятные маневры, делая, как сказали бы шахматисты, единственные ходы, сумел выиграть девять матчей из десяти и удержать корабль на плаву.

Теперь баскетбольный ленинградский «Спартак» стал хозрасчетным самостоятельным клубом, теперь у команды вроде бы больше возможностей для нормального существования. Но это только возможности, и то достаточно проблематичные. Они могут воплотиться в жизнь при одном условии: когда мы все поймем, что великому городу нужна достойная его культура. И достойный его спорт как часть этой культуры. Поймем и поможем Кондрашину сделать команду, которой нам останется только гордиться. Что-то вроде «Жальгириса». Или мадридского «Реала». Или «Лос-Анджелес лейкерс», многократного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «НБА в действии, – восклицает телевизионный комментатор во время трансляции матча профессионалов, – это просто фантастика!»

У нас нет НБА. У нас есть Петрович, фантастический тренер, не нуждающийся ни в каких представлениях. Я, пожалуй, не стал бы писать портрет этого всемирно известного человека со все союзно известными привычками, если бы не недавняя свистопляска вокруг Кондрашина. И хотя пока все окончилось благополучно для Петровича, относительно благополучно, потому как в кардиологии на Пархоменко ему пришлось полежать, я все же взялся за перо.

1990

2. Тренерская натурфилософия

*Но иногда, мечтой воспламененный, Он видит свет, другим
не откровенный.*

Евгений Баратынский

В восьмой день августа

Однажды я спросил у Петровича – Владимира Петровича Кондрашина, которого в молодос ти звали «Батюшка», а затем, до последних дней жизни, не иначе как «Петрович», – есть ли у него в подлунном мире любимое место, куда мечтаешь выбраться при первом удобном случае и где делаешь только то, что душа поже лает. Ни секунды не задумался Кондрашин: «Шапки. Конечно, Шапки».

И теперь, когда Петровича седьмой год нет с нами (он родился 14 января 1929#го, умер 23 декабря 1999#го), когда 8 августа, в день рожде ния его единственного сына Юры, Юрия Влади мировича, уже разменявшего «полтинник», мы приезжаем к Кондрашиным в Шапки с Сашей Овчинниковой⁵, Сережей Чесноковым, Мишей Чупровым, Галей и Игорем Оноко-

⁵ Овчинникова Александра Павловна (р. 1953) – баскетболистка, заслуженный мастер спорта, выступала за ленинградский «Спартак», сборные Ленинграда и СССР, чемпионка мира (1975) и Европы (1974, 1978), вице-президент Фонда раз-

выми⁶, другими близкими Петровичу и его семье людьми, я начинаю понимать, почему обехавшего половину земного шара баскетбольного тренера так тянуло в Шапки.

Юра живет здесь в скромном доме, где под самой крышей спал, читал, думал Петрович: вместе с Юрой с начала лета до глубокой осени в сосново-озерном, болотистом шапкинском раю квартируют его мама Евгения Вячеславовна и ее сестра Ирина, помогающая Жене варить борщи-рассольники, печь пироги с черникой и капустой, топить баню и обихаживать Юру, деятельного, доброжелательного, многознающего, неунывающего, веселого человека, прикованного с детства неизлечимым недугом к инвалидному креслу.

В восьмой день солнечного или дождливого, жаркого или прохладного августа в низинной, самой комариной части Шапок, с медностволой красавицей сосной под окнами, облюбованной дятлами для безостановочной работы (Петрович восхищался врожденным чувством ритма птицы-труженицы, постукивающей клювом по огненно-красным на восходе или закате сосновым одежкам, вышелушивающей из коры жучков-козявок, потом замолкающей и снова начинающей стук-перестук, – так бы, мечталось под крышей, в нескольких метрах от дятла-древоточца, научиться взрываться-расслабляться на баскетбольной площадке или, думалось, с этим чувством ритма надо родиться, как Сашка и Серега Беловы, как Бобров, как Славка Зайцев?..), гремит музыка, пробки шампанского взлетают в потолок, улетают со свистом под водочку кондрашинские маринованные и соленые грибочки.

Королем «третьей охоты» в Шапках, собиравшим красноголовки, белые, лисички, волнушки, грузди проворнее всех, был сам Петрович, истинно верующий человек, считающий все христианские заповеди, живший в согласии и мире с природой, обожающий братьев наших меньших, собак, кошек (я запомнил таксу Филю, ее Петрович выгуливал и в Шапках, и на Васильевском); занятий, связанных с убийством живых созданий, божьих тварей – охоты, рыбалки – не переваривал. Правда, защищая слабого, восстанавливая попираемую справедливость, мог врезаться по кумполу значительно превосходящему его в весе и гораздо более молодому противнику, хаму, куражившемуся над притихшими, оробевшими окружающими ми в воскресный день на Невском или в вагоне электрички.

Восстановление попираемой справедливости, защиту чести и достоинства «на по том» перенести нельзя. Он и не переносил «на потом», восстанавливал как мог – в электричке, на Невском «подручными» методами, в кабинетах начальственных, на ставая на своей правоте, на тренировках и играх, костеря учеников за ошибки и глупости «баранами», а остывая, прощал их – не у всех же такие светлые головы, как у Саньки Белова, его любимого ученика, или у «Зайчика» – Саши Большакова, разыгрывающего «Спартака», мотора команды, или у Александра Харченкова. А вот трусости, безволия, стремления отсидеться в окопах, когда рота-команда поднялась в атаку, старшина Кондрашин (высшее воинское звание, до которого он дослужился в армии) ни старослужащим, ни новобранцам не прощал.

Инцидент в топографическом училище

Когда он служил в армии (один из периодов его действительной службы пришелся на Ленинградское военно-топографическое училище), ему тоже случилось поучить пытавшегося взять его на арапа известного в городе мастера дриблинга и броска. Произошел инцидент, наложивший свой отпечаток на все последующие отношения двух баскетбольных знаменитостей, в спортивном зале военного училища, где еще не старшина, а младший сержант

вития баскетбола им. В. Кондрашина и А. Белова.

⁶ Оноков Игорь Викторович (р. 1958) – президент Фонда развития баскетбола им. В. Кондрашина и А. Белова, двоюродный брат Александра Белова, доктор педагогических и кандидат технических наук. Онокова Галина Юрьевна (р. 1958) – баскетболистка, играла в высшей лиге чемпионата СССР за ленинградский «Буревестник», вице-президент Фонда развития баскетбола им. В. Кондрашина и А. Белова.

Кондрашин с утра пораньше, пока зал свободен (вставал он всю жизнь ни свет ни заря), отрабатывал дальний бросок и штрафные: триста штрафных, пять сот бросков с точки двумя руками от головы; а мы-то удивлялись тому, как он кладет мячи в корзину, а чему удивляться – встань пораньше, кто рано встает, тому Бог подает... Из всех качеств, спортивных и жизненных, способность, умение, желание трудиться, вкалывать, пахать по-черному он ставил на первое место, белоручек и лентяев презирал, ребята спартаковские сердились на тренера-ворчуна, когда он попрекал их куском блокадного хлеба: люди, мол, день и ночь трудились, спали в цехах, делая заготовки для снарядов, – малолетки, женщины, старики горбатились, умирали от голода и холода тысячами, а вы лишний раз наклониться за мячом ленитесь, живете и играете в условиях, о которых наше поколение и постарше даже мечтать не могли...

Так вот, возвращаясь к инциденту, после которого между двумя будущими знаменитостями, двумя земляками пробежала большая черная кошка... Отгружал наш Петрович мячи в корзину, возможно, даже напевал вполголоса от полноты чувств, как дверь в спортзал отворилась и в нее вошел в новеньком, с иголочки, спортивном костюме щеголеватый мастер росточка невысокого – сантиметров на пять меньше Петровича, тоже совсем не Гулливера (в Кондрашине было 175 сантиметров), поинтересовался, что здесь делает Кондрашин, и категорическим тоном сказал, чтобы он, то есть мастер модного вида, больше в зале в этот час его, то бишь сержанта-пахаря на спортивной ниве, не видел. Что больше не понравилось Петровичу – пижонский вид метра с кепкой или его высокомерный тон, он не сказал, но вывела его из равновесия и заставила взяться за оружие – протянуть к носу-рубильнику мастера свои железные пальцы-гвоздодеры – невинная похвальба щеголя насчет того, что он-де блатной и сейчас младшего сержанта уроет и еще что-то по фене блатной сказанное.

«Тут я понял, что никакой он не блатной, я-то на Лиговке насмотрелся настоящих блатных с фиксами и финками, – рассказывал мне Петрович, – и еще я почувствовал, что у него очко играет, он похвальбой себя заводит, но, отдам ему должное, не трусит, гоношится. Ну, рассказывать можно долго, а поступил я так: прищемил ему нос пальцами правой руки, поверь, это очень больно, и заставил его встать на колени и взять свои слова насчет “слабака”, “урою” – обратно».

На берегу Сямозера

8 августа 2006#го меня не было в Шапках: отпускной месяц выпал на конец июля – первую половину августа, и земляки сняли мне в родной Карелии комнату в доме на берегу Сямозера, одного из самых рыбных и норовистых, переменчивых, как карельская погода, озер: даже в июле море – Сямозеро многие так зовут – бушует неделями, а с неба, затянутого тучами, гром гремит, молнии сверкают, и по макушке, по кумполу лупит карельский июльский дождь, обещая скорые грибы – вот бы Петрович порадовался! – но отравляя мне существование, потому как в отличие от своего старого товарища я отдыхаю душой преимущественно на рыбалке (после летнего отдыха на карельских ламбушках, лесных озерах поплавок, прыгающий на воде, снится мне до марта) и топя баньку на берегу озера. На сей раз банного священнодействия хозяйка Татьяна Михайловна

(с Владимиром Петровичем одного поколения – она 1928#го, он 1929#го, дети «великого перелома», семью Татьяны Михайловны раскулачили и сослали на Крайний Север) мне не доверила, хотя я клялся и божился, что истопил на своем веку столько бань, сколько окуней в Сямозере!! Как и Петрович, она, до сих пор бегающая по лесу за черникой, морошкой шустрее и удачливее молодых, вырастившая с мужем четырех дочерей, содержащая избу и все хозяйство в идеальном порядке, всю жизнь ломившая от зари до зари, клятвам заезжих краснобаев не больно-то верит, да и накладно это – топить баню чаще, чем раз в не делю:

«Дрова-то теперь дороги, привезти их мало, надо еще расколоть, а мне уже восемьдесят, я в молодости крутилась, теперь уже не могу, а на мою пенсию, меньше трех тысяч в месяц, не больно-то разживешься, да в моем возрасте не о жизни надо думать, а о смерти, свое я отжила, а чего нажила?.. Простому народу как раньше труднo жилось, так и теперь, даже теперь еще труднее, вон моя старшая дочь Ольга с двумя высшими образованиями на трех работах в нашем Питере ломит, чтобы снимаемую комнату оплачивать и детям своим помогать...»

Хитрован Хитрованыч

Чем больше я узнаю Татьяну Михайловну и о Татьяне Михайловне, тем очевиднее мне, что ни какого простого народа никогда не было и нет, что люди талантливые, с кремневым, командирским характером – готовые диктаторы-правители небольших государств или, что одно и то же по набору психологических качеств, успешные тренеры, со своим, самобытным взглядом на вещи, своей натурфилософией (любопытно всякий раз проследить, сколько в их осмысливании мира собственно от натуры, то бишь от характера, норов, сколько от натуры-природы, а сколько непосредственно от мыслительного акта, рефлексии), наконец просто умные от природы, умеющие и копейку считать, и последним куском хлеба со страждущим поделиться, в так называемом простом народе встречаются не реже, чем среди тех, кто прочел горы умных книг. Убедила меня в этом много лет назад другая Татьяна, моя бабушка Татьяна Прохоровна, воспитавшая меня, рано оставшегося без отца и матери, женщина круто го нрава, скорая на задачу и ласку, отходчивая сердцем, злая на людей не державшая, окончившая всего три класса церковно-приходской школы, но не имевшая себе равных по умению читать в душах и видеть скрытые мотивы и намерения проходивших перед ней людей.

Рядом со своей бабушкой по природной мудрости и незаемному уму из известных мне людей спорта я поставил бы Вячеслава Платонова, двух шахматных чемпионов – Михаила Таля, Бориса Спасского и, конечно же, Владимира Кондрашина. «Конечно же» не означает, что Петрович умнее всех, – не в этом дело. Но из всех одаренных змеиной мудростью Кондрашин самый таинственный, загадочный, и чем дальше с годами он отстоит в рассмотрении, тем труднее расшифровать его личный код, разгадать его загадку. Не один я на этом зубы обломал, при жизни Кондрашин натягивал носы (в фигуральном смысле, без применения пальцев-гвоздодеров) тренерам команд, бравшимся разгадывать «рехбусы» ленинградского «Спартак» и сборной СССР 1971–1976 гг., и оставлял с ним сомнистую братию, сначала обожествлявшую тренера, приложившую руку к сотворению легенды о Мюнхене-72, о трех секундах, о тренере-провидце, Хитроване Хитрованыче, обшoppedавшем всех академиков, профессоров и прочих остепененных мудрецов заокеанского и отечественного извода. Нахваливали тренера письменники, а потом дружно и разом, словно по команде, начали развенчивать легенду о Мюнхене и Кондрашине – победителе американцев при Мюнхене.

Легенда о трех секундах

При первой же антикондрашинской публикации в питерской прессе я по звонил Кондрашиным и узнал от Юры, что батюшка сильно переживает, но виду не подает. Сам Петрович через день или два после этой эскапады спортивной газеты попросил меня, со бравшегося врезать им в печати меж глаз, этого не делать. «Почему, Володя? – не выдержал я. – Они же чушь несусветную несут...» – «Во-первых, потому, что они подумают, что они что-то из себя представляют и в баскетболе разбираются, а это не так. Во-вторых, американцы не случайным так и не признали свое поражение от нас в Мюнхене, там со счетом времени судьи нахিমичили, решение продолжать уже закончившийся матч тоже было не стопро-

центно справедливым...» – «Но ведь ни твоей, ни твоих ребят вины в этом не было?!» – «Стопроцентно не было... Но и американцев, не признающих нашей победы, понять можно... Так что, Леха, очень прошу тебя, не пиши об этом. Разве что когда-нибудь, когда меня не будет...» – «Да ладно тебе... Но ты хоть этому Б. (я назвал полное имя и фамилию “разоблачителя”) врежь как следует...» Кондрашин на другом конце провода рассмеялся: «Что ты, я поступлю наоборот: на ближайшем баскетболе подойду к Б., поблагодарю его за смелое и принципиальное выступление и укажу ему на четыре мелких-мелких фактических ошибки: две я сам заметил, а две Юрка, спасибо ему, обнаружил... А вот ты возьми и врежь. Если руки чешутся!..»

И завершил разговор, довольный и тем, что убедил собеседника не предпринимать ненужных шагов, и тем, что последнее слово осталось за ним. И какое: если ты такой смелый и так болеешь за старого товарища, на кажи сам его обидчика, а других не подначивай.

Высшая справедливость игры

В этом много кондрашинского, хитроумного, подначисто-игроцкого, где слаще меду оставить противную сторону в дураках. Но сказать: «В этом он весь» – не могу. Скорее уж его сущность проявилась в другом: победитель американцев, восслав ленный заслуженно, признал, что и баскетболистов сборной США тоже можно понять, поскольку судьи, да и руководство Международной баскетбольной федерации, разрулили сложившуюся в ночь с 9 на 10 сентября семьдесят второго года прошлого века нештатную ситуацию последних секунд главного матча олимпийского турнира не самым идеальным образом и, стало быть, у американцев есть причины обижаться на Джонса, главу Международной федерации, на судей, на весь мир; и главное для нас, пытающихся раз гадать Петровича, его натуру и философию жизни, в том, что он, себе во вред, американцам на пользу, признает их недовольство законным и понимает их, ибо – тут я домысливаю, договариваю за Петровича – и он, проиграв в Мюнхене в аналогичной ситуации, тоже был бы обижен на весь свет и никогда бы не смирился с поражением такого рода...

Почему? А потому что попорана Высшая Справедливость, нарушен дух «fair play» – вот почему. Представляете, были люди, которые верили в то, что спорт, игра пронизаны честью и справедливостью, а не превратились в глобальное шоу-развлекалово, где все устроено-подстроено корысти ради! Впрочем, почему были? Разве Зидан, защитивший свою честь и наказавший провокатора в конце финального матча футбольного чемпионата мира 2002 года прямо на месте преступления против Высшей Справедливости, возможно, ценой потери золотых медалей чемпионов мира для своей страны, не доказал, что есть вещи важнее золота мундиалей, игры и спорта?..

Начинал он с футбола

Футбол, кстати сказать, Петрович любил. И начинал он в спорте с футбола. Играл в за щите. Не сомневаюсь, что если бы Петрович дожил до чемпионата мира в Германии, где он за тридцать четыре года до этого позолотил ручки своим чудо-ребятам – Сашке, Сереге, Моде, Ване, Зурабу, Алжану, Геннадию, то в Шапках предложил бы выпить за здоровье Зинедина Зидана, великого игрока и отважного воителя за попоранную Справедливость.

Кондрашин был принципиально не пафосным человеком. Он никогда бы не сказал: «Шапки долой перед Зиданом, господа-товарищи!» А мне, давно играющему только в словесные игры, но остро переживающему за попираемую повсеместно справедливость, никто не помешает воскликнуть: «Шапки долой перед Зиданом! Шапки долой перед Петровичем!»

Торжество кондрашинского баскетбола

А натурфилософию Петровича-тренера, баскетбольного Заболоцкого, спортивного Баратынского я, может, еще напишу. Тут, в Карелии, на Сямозере, в важный для меня двадцать третий день нынешнего июля (мы поженились в та кой день в Петрозаводске в 1960#м со Светланой Ланкинен, которую Петрович запомнил по женскому баскетбольному турниру Первой Спартакиады народов СССР, – «Как не помнить? На память не жалуюсь – вы, – сказал он при встрече моей жене в конце 90#х, – играли под номером три, бросали двумя руками от груди, хорошо видели поле, хотя и чрезмерно увлекались скрытыми передачами, верно?..») мне открылось, как тесно и неотрывно торжество кондрашинского баскетбола (низкий поклон автору «Торжества земледелия» и «Столбцов») связано с жизнью природы и в природе, с прислушиванием к дыханию леса и озера, с любовью к каждому цветку кипрея и кустам боярышника и жасмина, к папоротнику, мху, к каждой черничинке и морошке, к бабочкам ночным и дневным, к пленительной музыке льющейся воды, журчанию ручья, стуку дождя по крыше, к жизни на природе, где встаешь с насельниками леса – зверьем и птица ми ранним-ранним утром, чтобы порадоваться восходу, и проводишь с ними утомившееся за день светило на закате. И, как писал еще один великий натурфилософ, норвежец Кнут Гамсун, когда живешь в лесу, в горах, у моря, когда каждый день встречаешь солнце и часами вглядываешься в чистое и открытое небо, для тебя словно обнажается дно мира и ты подключаешься к мозгу мироздания...

Торжество кондрашинского баскетбола идет от подключенности его мозга к мозгу мироздания, вибрации его чувств в такт дыханию природы с ее языком, внятным посвященным, живущим по законам звездного неба, воды и леса. Шапки – это не просто место отдохновения, зализывания ран, лечения язвы, профессиональной болезни тренера, нервы которого горят с ним огнем все минуты, часы, дни, месяцы, годы, проведенные им на электрическом стуле – тренерской скамейке. Это энергетическая подпитка из космоса – какие уж в Шапках особенные антенны-улавливатели космических излучений установлены, боюсь, не знает даже лауреат госпремии СССР Михаил Чупров, работающий по сходной тематике в военно-промышленном комплексе и друживший с Петровичем почти сорок лет.

Это то, за что в семье старшей сестры Петровича упертого трудоголика Кондрашина, помешанного на баскетболе, называли сумасшедшим. Хорошие люди, обыкновенные, чьи корни растут не из неба, а из земли, не могли взять в толк, что питерский хулиганистый пацан Вовка, шившийся с лиговской шпаной, сын банщика, столбовой пролетарий, академик не кончавший, живет в бытии, которое, по Баратынскому, «...Ни сон оно, ни бдение; / Меж них оно, и в человеке им / С безумием граничит разуменье». Советский беспартийный специалист в области физической культуры и спорта, родившийся в знаменитой Снегиревке, живший до женитьбы на Жене Малыгиной, баскетболистке из инженерно-экономического института, в большой родительской семье в громадной коммуналке дома на углу Невского проспекта и Пушкинской улицы, любил и пивка попить, и в картишки перекинуться. Он самый обыкновенный человек до той поры, пока, мечтой воспламененный, не увидит свет, другим не откровенный. А как увидит, такое учудит, что людям ученым, скажем, специалистам из комплексной научной группы при сборной страны, и присниться не может... Учудит, то есть сотворит чудо. Потому-то и называли его чудотворцем.

Когда поминали Петровича в ресторане гостиницы «Санкт-Петербург», меня поразил рассказ олимпийского чемпиона Мюнхена Геннадия Вольнова, как на предолимпийских сборах старший тренер национальной команды заставлял их часами отрабатывать броски одной рукой от одного кольца до другого, через всю площадку, и многие сердились на бесполезную трату времени и сил, кое-кто крутил пальцем у виска: это же никогда не пригодится,

а когда на ступили те легендарные три секунды и Иван Едешко сильно и точно метнул мяч в руки Сане Белову из-под нашего щита к американскому, то поняли, что у них гениальный тренер, который предвидел, предчувствовал то, что в принципе предвидеть невозможно.

Ну почему невозможно... Ведь мечтой воспламененный, он видит свет, другим не откровенный... Другим не откровенный, ему же ясный, как простая гамма музыканту.

И открылось-приоткрылось это мне, сложилось из разрозненных стекляшек в одну мозаику ранним утром 23 июля на Сямозере, обычно норовистом, бурном, а в то утро, когда я встречал выкатившийся из-за темного леса янтарный, морошковый блин солнца, – безмятежное, тихое, умиротворенное, с пепельным туманом над прибрежными камышами. Даже прожорливые чайки, обычно носящиеся над зеркалом воды и оглашающие округу противными металлическими голосами, не осмелились нарушить тиши ну нарождающегося дня. Даже я, сумасшедший рыболов, качающийся в лодке и на утренней, и на вечерней зорьке, этот дорогой для меня, божественный по настрою день встречал не с удочками и червями на крючке, а с томиком Баратынского в кармане рыбацкой куртки, читая вслух, вполголоса – солнцу, небу, лесу, озеру, камышам, пепельно-седому туману, истаивающему под разгорающимся солнцем, – мою любимую «Последнюю смерть» Евгения Абрамовича Баратынского, последние строки загадочного стихотворения загадочного русского поэта:

*По-прежнему животворя природу,
На небосклон светило дня взошло;
Но на земле ничто его восходу
Произнести привет не могло:
Один туман над ней, синяя, вился
И жертвою очистительной дымился.*

И когда туман испарился, я порадовался, что знал чело века по имени Петрович, самого глубокого на турфилософа отечественного спорта, что пользовался его дружеским расположением, что есть на земле Шапки, что был у нас всех Петрович и его гениальный ученик, названный сын Александр Белов.

Преклоним колени перед двумя питерскими гениями, лежащими рядом на Северном кладбище. И не надо никого из пришедших на их могилы 3 октября, когда ушел Саня, или 23 декабря, когда не стало Петровича, просить снять шапки. Под дождем и под снегом пришедшие и так стоят с непокрытыми головами...

2006

3. Репортаж для Юры Кондрашина

В «Юбилейном» – баскетбол, матч чемпионата страны. Ленинградский «Спартак» принимает киевский «Строитель».

По телевидению, в записи, покажут только второй тайм, комментатор, бывший мастер баскетбола, пока свободен и сидит с нами в ложе прессы. Неподалеку от него, на столике – телефон. На всех один, всем надо передавать отчеты в свои редакции, поэтому здесь, как и на площадке, действует правило «тридцати секунд». Правда, на первый тайм оно не распространяется, но долго занимать аппарат коллеги никому не позволят. Деловые ребята, ужасно деловые, все надо успеть, всюду поспеть...

К баскетболу они относятся, как индусы к корове – священное животное. Сопровождают «Спартак» во всех его поездках, дружат с игроками, подозревают гомельских, московских, тбилисских арбитров в предвзятости к их возлюбленному клубу, убиваются, когда «Спартак» попадает в черную полосу...

Баскетбол идет горячий, нервный, трудно удержать под кольцом Белостенного, плотный, борцовского сложения Рыжов проходит сквозь спартаковскую защиту, как раскаленный утюг, Рыжик «поливает» без промаха... «Спартак» сокращает разрыв: борется с гигантом Белостенным Павлов, удачно бросает с точки Капустин, прорывается к щиту Тюбин... Трибуны неистовствуют. Ложа прессы, относительно спокойная на хоккее и совершенно безмятежная на волейболе, им не уступает.

Только один человек в ложе шипит, как чайник на огне. Прижав трубку к уху, не отрывая глаз от порхающего мяча, он говорит, говорит, говорит... Минуту... три... восемь. Мне давно нужно позвонить по делу, я протискиваюсь к нему поближе, выразительно поглядываю на часы, он смущается, делает умоляющее лицо, но продолжает вещать. Теперь-то я слышу, что он вещает. «Павлов пробивает фолы... Первый – в лузе, второй там же... Почти достали, разрыв четыре очка... “Строитель” в атаке. Рыжик... Белостенный... Харч, не трогай его! Ну вот, Харч по-глупому сфолил. У него третий фол. Его и Капустина меняют, Капусту – правильно, давно пора. Судьи?.. Пока ведут себя прилично. Они знают, что мы с Мишаней Чупровым на посту...» Промокнул лоб платком, перевел дух и снова: «Белостенный делает заслон, а Рыжов – два очка... Ну, Тюба-подергун, отдал мяч им в руки!.. Щит проигрываем начисто, это чревато... Чревато – говорю... Это Бригадир кричит, поэтому и не слышно...»

Сергей Чесноков, корреспондент «Ленинградской правды», ведет репортаж о матче «Спартак» – «Строитель» для одного-единственного слушателя – Юры Кондрашина.

Больше всего на свете Юра любит музыку и спорт. Он выучил несколько языков, отец выписывает для него множество зарубежных спортивных журналов и газет. Юрины переводы и обзоры все чаще появляются в ленинградских изданиях.

Если бы Кондрашин-младший мог, он сидел бы сейчас с нами в «Юбилейном». Но он не может покинуть свою комнату, свое инвалидное кресло.

– Юра, закругляюсь, – кричит Серега. – Счет первого тайма... До связи!

Никто из коллег не сказал Чеснокову ни слова, не поторопил. Только я сунулся, но я не знал тогда, с кем он говорит, совсем, оказывается, не знал Серегу, давнего своего приятеля...

1985

Муки любви

1. Белые панамки на темной воде

Записки бывшего мальчика

Во вторник, 16 марта, в полдень, позвонил Боря Спасский, прилетевший из Парижа на восьмидесятилетие своего старинного друга – нобелевского лауреата по физике Жореса Алферова. Уже в среду, 17#го, Спасский улетал в Киров, «вятский Киров», как он сказал, откуда местные начальники обещали довести его на машине до села Коршаки...

– Помнишь Коршаки, Алексей Петрович? Помнишь, когда это было?..

Если бы я не был знаком с Борисом Васильевичем Спасским, десятым в истории чемпионом мира по шахматам, пятьдесят шесть лет, то подумал бы, что он меня разыгрывает, прикалывается, как говорят наши внуки (Борис недавно стал прадедушкой. – А. С.). Но поскольку мы учились в Ленинградском университете в одной группе, на одном курсе отделения журналистики филфака в пятидесятые годы, поскольку я много чего написал о нем, он не мог не знать, что его биография знакома мне почти так же хорошо, как своя, особенно наше детство, когда, если вспомнить Осипа Мандельштама, мы были ближе к смерти, чем в наши зрелые года.

У нас, бывших мальчишек, родившихся в тридцатые, в годы сталинской войны с собственным народом (Борис появился на свет божий на год позже меня, в 1937#м, в самый пик большого террора), у нас, чье детство было обожжено войной с врагом, много общего.

Замечательно назвал свою повесть о военном детстве и послевоенном отрочестве наш с Борисом земляк и добрый знакомый, человек нашей поколенческой когорты, киносценарист Юрий Клепиков, родившийся в 1935#м, – «Записки бывшего мальчика». Пятый, майский, Победе посвященный номер журнала «Искусство кино» за 2002 год с этими записками автора сценария фильмов «Не болит голова у дятла», «Восхождение», «Пацаны» я храню и часто перечитываю. Иногда мне кажется, что это написано и обо мне и о Спасском – только Юра жил в войну в Челябинске, где его мать работала на гигантском танковом заводе, я в Астрахани, Боря в детском доме в вятском селе Коршаки, куда был эвакуирован из Ленинграда летом сорок первого. Чувство скорби и ликования, беды и победы, испытанное в годы Великой Отечественной войны маленьким Юрой, было и для нас самым сильным переживанием детства.

Все самое важное – не в карьерно-биографическом, а в экзистенциальном плане – произошло с нами в сороковые, роковые, свинцовые, пороховые, когда одни пытались нас убить, а другие – спасти.

Уже после того как Борис улетел в Киров-Вятку, а оттуда поехал в Коршаки попрощаться с теми местами, где они со старшим братом Жорой жили в войну, я нашел в своем домашнем архиве большой очерк нашего университетского друга Александра Шарымова, умершего семь лет назад, о детстве будущего шахматного короля. Этот очерк, построенный на воспоминаниях Спасского, предназначавшийся для сборника о знаменитых ленинградцах, так и не был напечатан. И я, когда в начале 70#х работал над повестью о чемпионе мира, не знал, что мы оба в первый месяц войны чудом уцелели...

Детский дом в селе Коршаки

Июль сорок первого. Ленинградских детей эвакуируют из города.

Первый и третий эшелоны были разбиты прямыми попаданиями немецких бомб. Второй эшелон проскочил.

Братьев Спасских, семилетнего Георгия и четырехлетнего Бориса, везли во втором эшелоне. О судьбе первого уже знали. Поэтому всех детей из детского сада на улице Марата – спокойствия ради, когда самолетов и не было видно в небе, – заталкивали на перегонах под лавки. Под лавкой, запомнилось Боре, было просторно и уютно, хотелось ехать как можно дольше и уехать подальше от войны. И уехали. Спаслись.

Чудом спаслись от бомб. Чудом пережили неимоверно долгую холодную зиму сорок второго. Катастрофически не хватало еды. Но к голоду как-то даже начали привыкать. Другое желание было неистребимо – привалиться к теплой печке и провалиться в сон: там – мама, там – еда, там – довоенный Ленинград. У него была дистрофия последней стадии, он умирал от голода. И умер бы, если бы весной не приехала мама, не привезла хлеба, масла, меду, не выходила его, не забрала их обоих из детского дома...

«Вас спасут рыбий жир и вера»

Брат был постарше и покрепче, а Боря почти ничего не весил, когда они приехали на подмосковную станцию Первомайская. И в шахматы брат играл лучше – научил их играть, правильнее сказать, показал ходы еще в детском доме ленинградский мальчик Юра Пионтек. До девяти лет Жора регулярно побивал Борю за шахматной доской и, случалось, поколачивал. Дразнили друг друга: Жора был Гитлер, Боря – Геббельс. Они жили в поселке имени Свердлова. В сорок четвертом Екатерина Петровна родила Иру, за которой присматривал Боря, Жора уже ходил во второй класс, и оба помогали матери, которая когда-то учительствовала, а теперь работала на фабрике, сторожила совхозные поля, торговала водкой. Тяжко было матери одной поднимать троих: отец оставил семью и жил в Москве. В Подмосковье первоклассник Борис Спасский пел на школьных концертах самодеятельности «Прощай, любимый город...».

О Ленинграде они думали непрерывно. В самые тяжкие дни мать повторяла: «Вас спасут рыбий жир и вера». Вера и в то, что они обязательно вернутся в любимый город. Вернулись уже после окончания войны. От Московского вокзала носильщик вез на тележке их скарб по Суворовскому проспекту до его пересечения с 8#й Советской, где у них была комната в большой коммуналке.

Особенно радовалась возвращению мать; родные Екатерины Петровны, псковские крестьяне, жили в деревне, но ее сердце прикипело к городу, в который она когда-то приехала учиться. И в Ленинграде, как до этого в Подмосковье, бралась за любую работу, чтобы у ее ребяташек было «усиленное детское питание». Таскала тяжелые мешки; однажды, распалясь, подняла сразу два мешка и – упала. Когда ее привезли домой, виновато посмотрела на детей и проговорила: «Теперь – всё. Видно, я постарела. Мне вас теперь не вытащить». Было ей в августе сорок шестого, когда она надорвалась, – сорок лет. С той поры болезни не отпускали ее. «Но она постоянно сопротивляется болезням, – вписано рукой ее сына в очерк Шарымова. – Делает зарядку, молится Богу и поет революционные песни».

При всей своей внешней флегматичности Борис – человек страстный. Мальчишкой он страстно любил петь, читать Пушкина, а больше всего гонять на «гагах», коньках, уцепившись крючком за борт проезжающей машины «на прицепе». Тут он был ловчее старшего брата, катался отменно и никогда не попадался дворникам, не одобрявшим опасных затей малолеток.

Влюбился в белую королеву

Другим увлечением был трамвай, катание на «колбасе». Оно появилось ранним летом 46#го, когда братья после уроков заново знакомились с Ленинградом. Это требовало необычайной ловкости: надо было вовремя зацепиться на трамвайном буфере и уметь с него спрыгнуть, когда застучает милиционер или кондуктор. На каникулах, освоив катание на «колбасе» в своем Смольнинском районе, братья дерзнули совершить дальнейшее путешествие через весь город и добрались до зеленых аллей Центрального парка культуры и отдыха на Кировских островах, на одной из которых было здание с большим черным конем на фасаде и надписью «Шахматы».

– Сильнее страсти я не знал, – сказал мне Борис в Киеве в сентябре 68#го, в один из дней финального матча претендентов на звание чемпиона мира Спасский – Корчной, когда мы гуляли по парку Шевченко над днепровской кручей. – Это было какое-то наваждение, сумасшествие, ни о чем другом я и думать не мог, выклянчивал у матери пятнадцать копеек на пирожок и стакан газировки и на «колбасе» трамвая добирался с Суворовского до ЦПКиО, торчал до ночи в шахматном павильоне, глядел, как безумный, на доску и больше всего хотел украсть белую королеву, в которую влюбился.

Королеву не украл, зато после месячных гляделок (не только Боря разглядывал происходившее на стеклянных досках, но и Борю, как оказалось впоследствии, высмотрел завсегдатай павильона, его будущий тренер в городском дворце пионеров Владимир Григорьевич Зак) осмелел настолько, что предложил нескольким ребятам старше его сыграть в блиц. Все шесть партий Боря продул, вышел из павильона, сел на траву и заплакал.

Взбучка в павильоне стала его боевым крещением. Через день он предложил Жоре сгонять партийку и обыграл его! «Проиграв впервые, – пишет чемпион на полях старого очерка, – Жора очень расстроился и побил брата с иезуитским злорадством. Борис стерпел и в следующей партии снова одолел противника. Ради выигрыша он на все был готов».

Слава Богу, потом выяснилось, что не на всё, далеко не на всё готов он был ради победы. И тогда, когда его называли «шахматным Солженицыным» (в годы беспощадной идеологической травли автора «Архипелага ГУЛАГа» десятый шахматный чемпион пользовался любой возможностью, чтобы рассказать согражданам о взглядах писателя на историю России; встретившись с Александром Исаевичем, Спасский преподнес ему в дар шахматную книгу с надписью: «От благодарного бодателя дуба»), и тогда, когда ставший королем справедливой игры спас матч в Рейкьявике...

Первое слово, которое по складам прочитал пятилетний Боря, было – «правда». Вообще-то его надо написать с большой буквы: это было название главной газеты страны, на первой странице которой печатали сводки Совинформбюро, читая которые в сорок втором Екатерина Петровна тяжело вздыхала.

Провалился, как сквозь землю

Я читал в Астрахани сводки Совинформбюро в газетах и стихи: Пушкин, Лермонтов, Маяковский. В детсадовской самодеятельности декламировал стихи и плясал «Яблочко», мы выступали перед ранеными в госпиталях. В Петрозаводск вернулись в конце июля сорок четвертого. После шумной густонаселенной в войну Астрахани (эпидемия выкосила тысячи стариков и детей, и мой брат Миша умер в Астрахани) Петрозаводск был тихим и сиротливо просторным: его центр и набережная лежали в руинах. В октябре сорок четвертого пошел в школу. Весной сорок пятого читал по Карельскому радио лермонтовское «Бородино», сразу после Левитана: «...взяли Берлин!».

Тогда же в мою, в нашу мальчишескую жизнь вошли игры – волейбол, футбол, лапта, казаки-разбойники, хоккей с мячом, штандер. День-деньской мы гоняли во дворе и в Парке пионеров мяч, а ночами я читал – любимого моего Гоголя, Майн Рида, Купера, Диккенса и книжку о победоносном турне московского «Динамо» на родину футбола – «19:9».

Но вернемся в сорок первый. В Астрахань мы с бабушкой Татьяной Прохоровной и моим младшим братом Мишей поехали потому, что там жили старшая сестра моей мамы Нины Ивановны Малютиной тетя Шура и ее муж дядя Миша Щербаков. Мама, агроном по специальности, работавшая в сельхозотделе ЦК партии Карело-Финской ССР, оставалась на севере, в Беломорске, куда из захваченного врагом Петрозаводска перебрались партийные и правительственные учреждения республики.

Самый первый день войны – 22 июня сорок первого – в памяти не отложился. Знаю только, что на лето я был отправлен в детский оздоровительный лагерь под Вытегру, маленький городок на берегу одноименной речки, впадающей в Онежское озеро. Зато во всех деталях запомнил тот июльский день – война уже шла три недели – когда за мной приехала бабушка. Времени было в обрез, надо было грузиться на баржу, которую буксир должен был тащить через шлюзы Мариинской системы, потом по Рыбинскому водохранилищу, потом по Волге до самой Астрахани, а внук куда-то, как сквозь землю, провалился...

И действительно, провалился – в выгребную яму: уборная на двадцать «очков», выстроенная для воинской части, которую куда-то передислоцировали, не была рассчитана на маленьких червякообразных шкетов. Выловили меня из ямы, протянув длинный шест с черпаком, орудием производства местного золотаря, вытащили, хотели отмыть водой из шланга, я вырвался и с диким ревом помчался по дорожке лагеря, был схвачен за шею крепкой бабушкиной рукой, отмыт в речке, накормлен и водружен на баржу.

Сталинград Элема Климова

Много лет спустя, познакомившись в Москве, в доме космонавта Виталия Севастьянова, женатого на моей университетской приятельнице Але Бутусовой, с Элемом и Германом Климовыми, создателями лучшего отечественного фильма о спорте, я рассказал эту историю глубокой ночью Элему. Виталий, хозяин дома, и младший из братьев Климовых Герман после водки и Алькиных пельменей уже спали, а мы с Элемом, начав вспоминать войну, разволновались и прикончили огромную бутылку французского шампанского, привезенного космонавтом с Корсики.

Элем смеялся: «Жаль, я не знал этой истории, когда снимал “Добро пожаловать...”, непременно вставил бы в картину». А уже под утро, когда мы решили соснуть прямо на ковре в гостиной, Элем, которому в первые дни войны, 9 июля, исполнилось восемь лет (Герман родился 9 мая 1941 года), рассказал: «Мне до сих пор снится, что летят немецкие самолеты и сбрасывают на нас бомбы. Мы жили далеко от центра Сталинграда, в поселке СталГРЭС, отец работал инженером на электростанции. Страха тогда не было – наверное, мы, пацаны, не очень понимали, что происходит. При налетах лезли на крышу и сбрасывали вниз зажигалки. Бомбы брызгали искрами и шипели, попадая в бочки с водой... Когда город горел во многих местах, нас отправили в эвакуацию, на Урал. Железнодорожный состав загрузили на паром, с середины реки я увидел, как горел город. Длинная стена огня. А вокруг вода вспухала от бомб и снарядов».

Что значит прирожденный кинематографист: всё видишь – и длинную стену огня, и вспухающую от бомб и снарядов воду. А о жизни в эвакуации, в деревне Коптяки, рядом со Среднеуральской ГРЭС, не захотел говорить, только повторял: «Ужас, ужас, ужас. Голод, холод, ненависть местных к приехавшим. Меня сжигало одно желание – есть, хоть раз наесться досыта».

Перед тем как заснуть, спросил: «А тебя бомбили?..»

«А тебя бомбили?»

Бомбили, Элем, еще как бомбили. Стены огня не было. Немец еще не дошел до Волги в июле сорок первого. Но отдельные вражеские само леты уже прорывались в советский тыл. Кто налетел в солнечный летний день на наши баржи, которых буксиры тянули по Рыбинскому водохранилищу, мы не знали, не могли знать – «Юнкерсы», «Фокке-Вульфы», «Мессершмитты», «Хейнкели»... Я даже не помню, была ли на налетевших самолетах свастика.

Четко помню одно: белые детские панамки на солнечной ряби темной воды. Бомбы попали в первую баржу с эвакуированными детьми, она шла в нескольких сотнях метров впереди нашей баржи. Нас тоже бомбили, но промазали. У меня ветер сорвал с головы чернокрасную тюбетейку, и она улетела к белым панамкам. Бабушка плакала, проклинала Гитлера и Бога, допустившего это, и прижимала меня и моего брата трехлетнего Мишу, ласкового ангелочка, к себе, запрещая смотреть на воду. Но я, неслух и грубиян, вырвался из ее вдруг потерявших силу рук и бросился к борту смотреть на воду. На белые панамки на темной воде.

2010

2. У нас во дворе

В нашем дворе все звали его Вася. И многочисленные ученики тренера Василия Филипповича Акимова между собой звали его Вася. В этом не было ни уничижительности, ни панибратства. Только любовь.

Он был замечательным человеком, наш Вася. Уж не знаю, как это происходит, но когда самые разные люди, не сговариваясь, начинают одного из себе подобных считать замечательным, можно не сомневаться: так оно и есть. И все понимают, что речь идет не об особенных профессиональных качествах, а о сердце и душе. Щедром сердце и бескорыстной душе – двух неизменных атрибутов человека замечательного в нашем отечестве.

В феврале 1984#го на шестидесятилетие Василия Филипповича Акимова его ученики, волейболисты петрозаводских команд, сборных Карелии сороковых-пятидесятых годов, преподнесли своему тренеру специальный альбом и стихи написали о короле карельского волейбола, о самом добром и веселом тренере на свете.

Василий Филиппович показывал мне однажды этот альбом, когда мы сидели у него дома и за чаркой вспоминали старых друзей. Нам было что вспомнить.

– Ты меня однажды до смерти напугал. Неужели не помнишь?.. Тебе было лет одиннадцать. Я возвращался со стадиона с тренировки, нес сетку с мячами. Ты привязался: «Дядя Вася, покажите, как перекат делать, как мяч в падении принимать?..» Пошли мы в парк пионеров, и я начал тебя на траве учить... Ты усердный был, а трава скользкая, ну и хлопнулся головой оземь, сознание потерял. Я растерялся, испугался за тебя. Но ты быстро очухался, и еще просил показать...

– Напрочь забыл...

– Надо же, забыл, а я вот помню. Я всё про вас помню. Всё.

Теперь вот поминаем Васю, Василия Филипповича, короля карельского волейбола.

Мы жили с ним в одном петрозаводском дворе в то время, когда наши дворы, не только в Петрозаводске, жили волейболом и футболом. Посмотреть на баталии в Закаменском переулке приходил будущий генсек, а будущий первый президент России играл против петрозаводской «Науки», которую тренировал Василий Акимов.

Ну, да Бог с ними, с генсеками и президентами. Они не обойдены вниманием. А вот просто замечательных людей, королей наших дворов, наших краев, наших игр, нашего вре-

мени – у нас привечать не умеют. При жизни короли страдают от черствости и небрежения властью имущих или делают вид, что им безразличны знаки внимания в виде наград и почетных званий.

А может, им действительно безразлична эта мишура? Скажите на милость, каким еще званием может отметить власть человека, при жизни названного королем?

Василий Филиппович Акимов был и остается в нашей памяти королем карельского волейбола.

1992

3. Часть нашей жизни

Петрозаводск, Астрахань, Москва

До Великой Отечественной мы жили в Петрозаводске на улице Калинина, за кинотеатром «Сампо». Когда собрались в эвакуацию, бабушка уложила несколько тысяч книг отцовской библиотеки в ящики (отец погиб в январе сорокового на войне с Финляндией), выкопала во дворе яму и опустила в нее ящики. Все, что было спрятано, украли. Уцелели только «Агрохимия» Прянишникова (отец и мать были агрономами) и «Война и мир» в четырех томах, оставленные в книжном шкафу.

В эвакуации мы были в Астрахани, куда бабушка отвезла меня и моего младшего брата Мишу к своей старшей дочери, тете Шуре, сестре моей мамы. В Петрозаводск вернулись в конце июля сорок четвертого. После шумной, густонаселенной во время войны Астрахани мой родной город казался тихим и сиротливо просторным. Его центр и набережная лежали в руинах, как в Сталинграде. В октябре сорок четвертого пошел в школу. Тогда же попытался освоить «Агрохимию» и «Войну и мир». Но Прянишников и Толстой оказались первокласснику не по зубам...

Почему я вспоминаю эвакуацию (нас бомбили и по дороге в Астрахань, и в самой Астрахани, когда шла битва за Сталинград), войну, «Войну и мир» в повествовании об игре, о мужской сборной СССР, сильнейшей в мире команде последних лет, играющей в волейбол для развлечения человечества? Кого и в чем пытаюсь убедить, когда сопрягаю такие разнокачественные материи как «война», «мир», «человечество» и «игра»?

Себя, самого себя убеждаю, что не пустым делом занимался, когда столько времени отдавал игре и на спортивных площадках и театральных подмостках – сначала как действующее лицо, потом как рецензент чужих игр. Теперь вот вспоминаю об этом.

Надо ли еще и вспоминать?

История болезни

В восьмом классе я был заворожен пленительным языком «Горя от ума» Грибоедова. В школьном литкружке, весной 1952-го, когда отмечалось столетие со дня смерти Гоголя, сделал доклад о самом необыкновенном русском писателе. За два года до этого в «Новом мире» прочитал роман «Студенты» Юрия Трифонова и влюбился в этот текст и его автора.

Сам Юрий Валентинович не любил свое детище, за которое получил Сталинскую премию. В зрелых вещах он ушел далеко от «Студентов». Его первый роман во многом несовершенен, но ощущение свежести – взгляда, языка, молодой страсти – от чтения трифоновских «Студентов» осталось во мне с отрочества. Первую свою рецензию – в школьном читательском дневнике – написал на «Студентов».

Страсть к спорту Трифонов пронес через всю жизнь. Никто из наших литераторов так тонко не чувствовал, так глубоко не понимал спорт, как Юрий Трифонов.

Вспоминая свое довоенное детство, прошедшее в доме на набережной Москвы-реки (много лет спустя на сцене Театра эстрады, помещавшегося в этом доме, проходил второй матч Ботвинник – Таль), Трифонов посвятил очерк «История болезни», опубликованный в «Советском спорте» 27 апреля 1961 года, школьному другу Лёве Федотову.

«С Лёвкой Федотовым меня связывало так много! Он был замечательный человек. Когда-нибудь я напишу о нем. Я напишу о его храбрости, о его таланте, о его любви ко всем наукам, ко всем книгам, ко всем великим людям, ко всем искусствам. Он был смуглый, коренастый, лицом немного монгол, с золотыми славянскими волосами. Мы ходили с ним на шахматный турнир (Второй Московский международный турнир проходил в 1935 году. – А. С.) в музей имени Пушкина – через Каменный мост... Мы увлекались шахматами так же, как астрономией, исследованием пещер, собиранием марок, джиу-джитсу...

Мы болели за Ботвинника. Он был наш, советский, и он приносил нам радость – побеждал!.. Лёвка играл в шахматы хуже меня, зато замечательно рисовал и писал научные романы в общих тетрадах.

Мы преклонялись перед талантами Лёвки Федотова. Он был гигантом и гордостью нашей школы. Как-то мы шли из парка, на нас напали ребята на Кадашевской набережной, и Лёвка уложил четверых при помощи джиу-джитсу. Во время испанской войны Лёвка, надеясь поехать добровольцем, закалял свою волю и ходил по карнизу моего балкона на пятом этаже. Он был близорук, у него было слабое сердце. Потом я уехал из этого дома. Тогда многие уехали (четырнадцатилетний Юра, сын “врага народа”, вместе с сестрой и бабушкой был выслан из дома на набережной на окраину Москвы. – А. С.). Но Лёвка продолжал жить там же, в маленькой квартирке на первом этаже, вдвоем с матерью, и я приезжал к нему в гости. Я гордился дружбой с ним и знал, что он станет великим человеком. Лёвка погиб на войне.

Вот о чем я вспомнил, глядя из окна на мрачные бетонированные стены этого дома, такого чужого, такого далекого. И я подумал о том, что шахматы – не просто игра. Они часть нашей жизни. Часть жизни, понимаете? В том-то и дело».

Часть нашей жизни

Да, конечно, шахматы – часть нашей жизни. Как и волейбол, баскетбол, футбол, хоккей. Имена Ревы, Щагина, Ульянова, Коркия, Лысова, Александра Белова и Кондрашина, Боброва, Бескова, Яшина, Стрельцова, Харламова впечатаны в память моего поколения. Стоит только потянуть ниточку, стоит только начать вспоминать...

Но стоит ли? Надо ли рассуждать в такое тревожное время об игре, о звездном ее часе в час, когда над миром нависла угроза «звездных войн»?..

Юрий Трифонов, утверждавший ценность игры в 1961#м, через двадцать лет писал о ней в другой тональности. Статья «Загадка и провидение Достоевского», полученная редакцией «Нового мира» незадолго до смерти Трифопова, была опубликована в конце 1981#го. «Почему гнев и боль Достоевского живы сегодня? Наше время переломное: жить дальше или погибнуть? Мир вокруг колоссально и чудовищно переменился. Достоевский с его фантазией не мог бы предположить, каковы перемены. Нынешний Кириллов обладает абсолютной способностью взорвать вместе с собой население Земли, чтобы стать богом. В 1975 году в Америке двадцатилетний физик соорудил из спортивного интереса атомную бомбу за пять недель... И все же характер человечества остался тот же: противоречивый, забывчивый, легкомысленный. Мировой Скотопригоньевск опомнится лишь тогда, когда вспыхнет пожар. Диктор Французского радио сказал в 1978 году: «Смерть Альдо Моро

заслоняет всю остальную действительность. Но все же я сообщу вам о результатах бегов...» Бега продолжаются. Люди интересуются их результатами».

Статья Юрия Трифонова продолжала разговор о Достоевском, который начали в журнале Алесь Адамович и Даниил Гранин.

Быть или не быть человечеству?

В «Блокадной книге» нет ни слова о спорте, даже о легендарном футбольном матче, в котором победило мужество ослабевших от голода, но несломленных людей. Поначалу, на стадии сбора материалов, рассказывал мне Даниил Александрович, соавторы намеревались посвятить блокадному футболу главу, но она упорно не ложилась в «Блокадную книгу». Спортивная игра, изначально радостная, дающая ощущение счастья, и страдания, принесенные войной, не сочетались под одной обложкой.

Даниил Гранин прошел войну танкистом, Алесь Адамович партизанил в белорусских лесах. «Конечно, и без нас, если мир, если жизнь продлятся, литература скажет свое веское слово против третьей мировой войны. Может быть, великое на весь мир слово, – пишет Адамович в статье “Overkill”, в январском номере журнала “Дружба народов” за 1985#й. – Но верится, что именно писатели, пережившие мировую войну, свое слово скажут. Больше писателей, переживших войну мировую, не будет никогда!»

Поражает простая, в сущности, мысль: наши поколения единственные в истории, поскольку в нашем личном опыте мировая война – последняя. Если маньяки развяжут третью мировую, никто не сможет ее вспомнить: все сгорит в атомном пламени... Жить дальше или погибнуть? Быть или не быть человечеству? До игры ли тут? До игр ли?..

Мое поколение в танках не горело, в партизанских болотах не мокло. Но и оно – вдруг понимаешь отчетливо, и зябко становится от этого понимания – тоже единственное, кто может рассказать о своей мировой войне: мы не были ее участниками, но свидетелями были.

Сережа (сын моего друга по Ленинградскому университету Бориса Грищенко, работающего в Москве) в свои десять лет знает все модели советских и немецких самолетов времен Второй мировой, на его письменном столе рядом с «Таинственным островом» Жюль Верна и журналом «Костер» стоят два темно-зеленых танка КВ и Т-34 из деталей детского конструктора. Сколько, оказывается, у немцев было самолетов, мы-то знали только «Юнкерсы», «Фокке-Вульфы», «Мессершмитты», «Хейнкели» – Сережа, по альбомам и справочникам, знает десятки разновидностей. Какие из них налетели на наши баржи в июле сорок первого и начали нас бомбить, неизвестно...

Беспримесная радость

Игры пришли потом, когда мы вернулись в Петрозаводск из эвакуации.

Натерпевшиеся, пострадавшие за войну люди потянулись к спортивной игре с ее неоспоримой, беспримесной, абсолютной радостью.

До игр ли тут? До игры ли?

Спорт, игра – я убежден в этом – не только приносят нам новые сведения о нас самих, но и могут способствовать росту человеческого в человеке. Только не скачки-бега, не вакханалия азарта и корысти, которым предается «мировой Скотопригоньевск», а игра, согретая душой.

*Ты не спеши. Но золотая
И мудрая твоя печаль
Пусть поднимется, святая,
И поплывет к другому краю,*

А ты, наоборот, причаль.

*Другие души, камни, глины
Светлее станут и стройней,
Смягчатся, как между своими,
Сердца народов и людей.*

Эти стихи были напечатаны в том же журнале, что и статья Адамовича «Overkill», только четырьмя годами раньше. Страничка журнальная со стихами называлась «Памяти товарища». Коллеги, друзья прощались с Александром Орловым, редактором (он редактировал и произведения Юрия Трифонова), поэтом, много лет игравшим за команду МГУ и умершим на волейбольной площадке.

Уходят из жизни люди игры – Владимир Саввин, Владимир Ульянов, Анатолий Чинилин, защитники Отечества в военную годину. И поэты уходят. А игра живет и будет жить, пока люди не разучились радоваться бегущей воде, шумящей под ветром листве, летящему мячу, будет жить, чтобы смягчать сердца народов и людей.

1985

О муках любви. Предисловие к послесловию

Моя книга «Время игры» (М.: «Физкультура и спорт», 1986) – о муках любви. Любви к женщине, свободе, искусству, спорту, красоте, игре. Корень игры – гармония, красота. «А корень красоты – отвага» (Борис Пастернак «Осень». Из цикла «Стихи из романа»).

В романе «Доктор Живаго» сказано: «Человек в других людях и есть душа человека... В других вы были, в других и останетесь. И какая вам разница, что потом это будет называться памятью». Не знаю почему, но я чувствую себя не вполне своим в мире взрослых. «Я состарился, но так и не вырос» – могу повторить эти слова Федерико Феллини, сказанные им за два месяца до смерти. Для человека такого типа важны люди-магниты, к которым бы он тянулся. Потребность испытывать нежность и восхищение сопровождает мою полувековую профессиональную карьеру. Я не могу написать ничего стоящего о человеке, если не влюблен в него. Я продолжаю играть, как семьдесят лет назад, и, выходит, никогда не расставался со своим детством. Игра ведь многомерна: это и сфера детства, и способ познания мира, и часть жизни, и потому, рассказывая об игре, рассказываешь о жизни.

Книга «Время игры» была замечена. Читать похвалы в газетах и журналах разных городов, получать благодарные письма читателей было приятно. Но одно критическое замечание в рецензии В. А. Новоскольцева (главный редактор «Советского спорта» в 60#е и 70#е годы, он напечатал немало моих репортажей и очерков в своей газете) задело меня за живое.

Похвалив автора («Отдавая всем свое сердце, А. С. все же большую его часть отдает тренеру... Очень здорово написано, теперь так о спорте пишут редко»), Новоскольцев под занавес врезает ему. «Конечно, автор имеет полное право начинать повествование с “я” и им кончать... Но А. С. несколько нарушил желаемое равновесие скромности.

Излишне много о своем жизненном пути автор повествует в главах, названных им “Тайм-аут”».

Скромность помянута рецензентом совсем не к месту. Неужели непонятно, что, изучая себя, ты изучаешь жизнь, изучаешь других людей?! Ведь слабый человек силен потому, что может познать самого себя. Об этом знали еще древнегреческие философы, а Трифонов стал классиком русской литературы именно потому, что, как заметила Инна Гофф, «никогда

не пытался уйти от себя, а пробивался к себе: изучал, осмысливал, рассматривал на просвет жизнь, которая была в нем самом и вокруг него».

Льщу себя надеждой, что сумел чему-то научиться у Юрия Трифонова. Жаль, что послесловие почти четвертьвековой давности, мое признание в любви Юрию Трифонову не вошло в мою книгу «Время игры».

Я посвящаю этот текст памяти Владимира Кондрашина и Вячеслава Платонова – гениев игры, родившихся в январе, один восемьдесят, другой семьдесят лет тому назад. Им обоим – тут Владимир Новоскольцев прав – я отдал большую часть своего сердца.

2009

4. «Химик, глотай химикалий ртом!»

Международной волейбольной федерацией с незапамятных времен до 1984 года руководил господин Либо, сереброголовый парижский архитектор. Ему, должно быть, на роду было написано стать волейбольным президентом. Слышите, как резонирует одно произнесенное подле другого слово: Либо и – волейбол. Их зарифмовала сама судьба. Судьба и три беспечных филфаковских поэта, только что завершивших поэму о деде Мокее и его внуках, акмеисте и хоккеисте в будущем: «Сидя на завалинке, дед Мокей советовал внукам играть в хоккей...»

Сидя на подоконнике, напротив главной филфаковской аудитории, поэты приняли от факультетского спортбюро заказ на рекламу нашего завтрашнего финального матча с химиками на первенство университета, потребовали минимум информации о нашей команде и волейболе, «пошевелили абрикосами» (так называли они протекание творческого процесса) и позвали меня, председателя спортбюро, принимать работу.

Начало было такое: «Химик, глотай химикалий ртом: удивляться нечего! Играем с Панкратовым не хуже, чем с Калертом, а с Калертом не хуже, чем с Анейчиком!»

Перечислив весь наш состав и запугав химиков до посинения, поэты воззвали к лучшим чувствам прекрасных дев-филологинь, призывая их прибыть завтра к девятнадцати ноль-ноль на Десятую линию Васильевского острова в спортзал матмеха для бурного изъяснения восторга игрой своих и подавления волной неуправляемых эмоций противной стороны. А чтобы никто не усомнился в грандиозности завтрашнего события, чтобы все поняли его эпохальную значимость, поэты поясняли: «Интерес к встрече определим вкратце: если бы прибыл на матч господин Либо, президент Международной федерации, и он бы пришел смотреть волейбол!»

Один из трех поэтов, мой товарищ по группе, разносторонне талантливый, как Леонардо (еще в школе переводил Байрона, шил брюки и рубашки, был главным художником многоверстовой стенгазеты «Журналист», где изобразил чуть ли не в натуральную величину ректора университета, академика и альпиниста; он, поэт, а не ректор – переплывал Неву в пору ладожского ледохода и унаследовал от отца, актера, бархатный бас, звучавший долгие годы на ленинградском радио и позволивший Виктору Голявкину написать рассказ «Густой голос Выштымова»), наш Левша, левой, как Леонардо, рукой нарисовал на ватмане волейбольную сеть и в каждую ее клетку вписал цветной тушью: «Химик... глотай... химикалий... Господин... Либо... волейбол».

Могучие химики, грозные химики, непобедимые химики, краса и гордость очень мужского факультета, были разбиты наголову командой самого женского факультета, командой, в которой не было ни одного запасного!

В волейбол они играли лучше нас, чего там... Но у них не было таких поэтов, и таких болельщиц у них не было. Так что удивляться нечего: играли мы с Панкратовым не хуже, чем с Калертом, а с Калертом не хуже, чем с Анейчиком...

Валя Калерт, хрупкий, изящный, ушел из жизни молодым. Остальные из нашей университетской команды работают – один пишет сценарии научно-популярных фильмов, другой, доктор наук, – солидные монографии о Горьком и Бунине, третий – очерки в рязанской областной газете, а еще одного я потерял из виду...

Мы пришли в университет осенью пятьдесят четвертого, а дипломы получили летом пятьдесят девятого... Время незабываемое.

В большой филфаковской аудитории обсуждается роман Дудинцева «Не хлебом единым», динамики транслируют голоса спорящих на оба этажа, забитых не попавшими на диспут; на танцах в общежитии капитан нашей волейбольной команды Лось, демонстрируя собравшимся фигуры новейшего танца рок-н-ролла, роняет партнершу; по невиским набережным, залитым водой (очередное наводнение), бродят английские моряки с прибывшего в Ленинград с дружеским визитом английского крейсера «Аполло»; летом мы строим коровники в колхозах Ленинградской области, помогаем убирать хлеб в целинных совхозах Алтая и Казахстана; сдаем экзамены по новым, только что введенным для журналистов курсам – экономике промышленности и экономике сельского хозяйства; на комсомольском курсовом собрании прорабатываем сокурсника за то, что осенью на картошке тот читал «Так говорил Заратустра» Ницше (наш записной остролов Бубрих, не состоящий ни в каком родстве с известным филологом, специалистом по финно-угорским языкам, сказал по этому поводу: «Много шума из ницшего»), другому врезаем за плагиат – на первой же практике в городской газете он тиснул очерк о шоферах, наполовину сдув его из романа Рыбакова «Водители»...

Из четырех журналистских групп курса только во второй, нашей, у «англичан» (мы разбиты на группы соответственно изучаемому иностранному языку) нет ни одного солидного человека. Мы все попали в университет сразу после десятого класса, а «французы», «итальянцы» и «немцы» в большинстве своем и повоевать уже успели, и газетную лямку тянули и смотрят на нас как на салажат. Рядом с боцманом Палычем (он проходит у нас как «ботик русского флота») и его фронтовыми друзьями мы и есть салаги, хотя и прошедшие блокаду, оккупацию, бомбежки, кому что выпало. Для них мы салаги и пижоны, или, как говорит бывший майор «старик Яков» (старику и сорока нет, он был на фронте всю войну), – «артисты». Говорит не в осуждение, без злобы и зависти, иногда даже с оттенком восхищения.

Иронический молодежный стиль, входивший тогда в моду, если и задел нас, то лишь по касательной. Мы дышали воздухом надежды, перемен, открытий, он пьянил нас, мы захлебывались от новых ритмов, новых песен, новых слов, мы были переполнены небывалой, неслыханной новизной жизни, мы спорили, не слыша самих себя, были постоянно возбуждены, может быть, даже смутно ощущали, сколь серьезно все, что происходит вокруг, что происходит с нами, но ни за что не признались бы никому, что это нас по-настоящему трогает, что этим мы всерьез обеспокоены, взволнованы, задеты. И чем больше удивительного происходило на наших глазах, тем меньше мы удивлялись. Из всех сил старались не удивляться, не принимать происходящее очень уж всерьез, не строить планов личного преуспевания – последнее считалось чем-то неприличным, безвкусным, пошлым. Голова шла кругом – в нашей стране 4 октября был запущен первый в мире искусственный спутник Земли, а вечером 5 октября мы распевали на Невском частушку: «Ракетная игрушка взлетела в небеса. Нам жить с тобой, старушка, осталось полчаса...» Сочинительством нас не удивишь: сочиняют все, сочиняют всё – частушки, песни, стихи, рассказы, пьесы... Более редким и потому более почитаемым был дар импровизаторства. У нас в группе сразу два имитатора, один специализируется на показе-передразнивании вузовских преподавателей и своего брата студента, другой разыгрывает в лицах всевозможные исторические сцены.

Старику Якову, называющему нас «артистами», нельзя отказать в проницательности: все мы лицедеи, все живем, играя.

Это надо понимать и буквально: во что только не играли мы за пять студенческих лет. О таких, как Лось и наш сильнейший нападающий факультетской сборной мой друг Орлуша, да и я, и говорить не приходится. Мы – спортсмены, играем за университетские команды на первенство города по волейболу, гандболу, баскетболу, а на студенческих стройках – еще и в футбол. Есть у нас и два шахматиста, они же – лучшие преферансисты, один известен в общесоюзном и мировом масштабе.

Современные теоретики игры разделяют игры на две разновидности – импровизационную, свободную, не связанную никакими условиями, правилами (по-английски «play») и игру по правилам, о которых заранее договариваются между собой участники (в английском – «game»). Организованные игры в свою очередь делятся на спортивные, где игроки полагаются на свои силы, и на игры фатума (рулетка, лотерея, игра в кости, отчасти в карты), где игроки доверяются всё разрешающему случаю. Играм фатума мы, получившие сугубо рационалистическое и атеистическое воспитание, не привыкшие уповать на чудо, платим значительно меньшую дань, чем спортивным. Притягательными, преимущественно для старшего поколения нашего курса, были карты, хотя сомневаюсь, чтобы учредители «Клуба четырех королей» в университетском общежитии на канале Грибоедова согласились бы с отнесением карт к играм фатума. Они-то полагались не на слепой случай, а на свой интеллект!

Мы, «англичане», в тот клуб не ходили. У нас был свой, на проспекте Маклина. Здесь жил наш друг Боря (он же Роковой), у него было оксфордское произношение, как утверждала Вероника Николаевна, преподаватель английского; мы не удивлялись: какое же еще должно быть произношение у эсквайра, сына эсквайра. Эсквайром Бобом С. Грисченкай сделал его в своей повести-легенде о нашей группе художник-поэт-модельер-«морж» Левша, а вообще-то Роковой родился на Дальнем Востоке, где строил корабли его отец Сергей Сергеевич. В их доме и был наш клуб; здесь нас потчевала пирожками и котлетами добрейшая Александра Ивановна, мама Рокового и его младшего брата Кролика; здесь мы собирались перед экзаменами по литературе и рассказывали друг другу «закрепленные» за нами произведения: один – «Домби и сын», другой – «Ярмарку тщеславия», третий – «Житейские истории кота Мура»; здесь после экзаменов слушали Луи Армстронга, Эллу Фицджеральд, здесь устраивали футбольные турниры с участием сборных Бразилии, Англии, Франции, ФРГ – играли пуговицами на большом столе, Кролик, тогда школьник, не знал себе равных, у него были два блестящих перламутровых форварда: Копа и Фонтен.

Игра для нас – не только игры, от всамделишного волейбола до пуговичного футбола, от шахмат до карт. Игрой было пропитано, пронизано все наше существование, весь наш неустроенный, хаотичный, театрализованный студенческий быт, где все на виду, все демонстративно, все преувеличено – и страсти, и мечты, и таланты, и катастрофы, и триумфы.

Зуд соперничества и лицедейства не давал нам покоя. Мы всех передразнивали; случалось, разыгрывали защиту газетной практики после третьего и четвертого курсов с ее ритуалом оппонирования и сшибки мнений; на сессиях полагались не на знания, а на разработанные нами двенадцать психологических правил сдачи экзаменов; сама процедура сдачи экзаменов рассматривалась нами как поединок, причем противоборствующая нам сторона ни в коем случае не должна была почувствовать состояния борьбы; процедура должна была выглядеть как поединок равных, разумеется, не по знаниям – утопистами мы не были, – а по отношению к сдаваемому предмету, по степени поглощенности им, по энтузиазму, им вызываемому, мы не должны были уступать принимающим (это требовало тонкости «приспособлений», дабы не переиграть, определенного знания самого предмета и точного знания характера и привычек экзаменатора)... Конечно, можно играть всегда строго по позиции, не обращая внимания на особенности партнера, как делают это сильные, уверенные

в себе гроссмейстеры классического стиля, но мы в те годы были достаточно самоуверенны, но не достаточно уверены в себе.

Мы разработали эти принципы всемером – художник-поэт Левша, Роковой, Бубрих, Эдик по прозвищу Шевалье, непревзойденный исполнитель песен Вертинского, Виталий, он же Кум, лучший самбист университета, Орлуша и я; мы не скрывали их от сокурсников, хотя и предупреждали, что дело не в принципах, а в умении сымпровизировать на заданную тему. При относительном равенстве запаса знаний и способности к комбинаторике лучших результатов добивались те, кто, выйдя из детского возраста, не потерял способности к перевоплощению и даже развил ее в школьных драмкружках, студиях при Дворцах пионеров и Домах культуры, на сценах любительских и даже профессиональных театров. Многие из нас, и практически все создатели «теории», в школьные годы такой тренинг имели. Роковой с братом Кроликом и его приятели создали домашний театр, в котором разыгрывали самими сочиненные пьесы; Бубрих в своей Луге основал «театр одного актера» и владел разнообразными жанрами – от манипулирования в представлении «Китайские тени» до чревоушания, а в школьном драмкружке был Ваней Солнцевым в катаевском «Сыне полка», на вопрос щеголька-кавалеристёнка: «Чего стоишь?», отвечавшим независимо: «Хочу – и стою»; Левша играл в Оренбурге на школьной сцене в «Горе от ума» с Виктором Борцовым, своим одноклассником, который окончил Щепкинское училище, стал актером Малого театра и в начале восьмидесятых сыграл в телевизионном фильме из жизни пятидесятых – «Покровские ворота»; поставил тот фильм Михаил Козаков, вместе с ним работал над несколькими телевизионными спектаклями Орлуша.

«Актер должен переодеваться!» – то и дело произносит один из героев «Покровских ворот». О, это наш постоянный обряд – переодевание, хотя гардероб наш более чем скромный, и только Роковой одет безукоризненно, потому что шьет костюмы у старых закройщиков в Таллинне, где живут родственники его матери.

Переодеваемся, перевоплощаемся ежедневно, но на сцену нас больше что-то не тянет. Только Роковой похаживает в драмстудию к филологам английского отделения, они ставят «Пигмалиона», он небрежно бросает: «Забавно, да и в языке полезно поупражняться», но мы-то знаем, что на филфак, на английское отделение, поступила Лариса с толстой льняной косой, шестнадцатилетняя полиглотка – ее портрет мы видели на выставке Акимова, и Роковой, большой любитель живописи, был смертельно ранен этим портретом и самой моделью, однако, вовремя вспомнив о своем оксфордском произношении и врожденном артистизме, бросился репетировать Шоу...

На сцену нас не тянуло, но театр значил для нас страшно много.

Мое первое театральное потрясение – Николай Симонов в «Живом труп», первый раз я увидел его еще школьником, семиклассником, когда приезжал на зимних каникулах из Петрозаводска в Ленинград, а всего видел раз четырнадцать. Через много лет я познакомился с ним, когда брал интервью для газеты в петрозаводской гостинице «Северная», случайно упомянул об увиденной недавно в Москве, в Вахтанговском театре «Принцессе Турандот» (возобновлении спектакля самого Вахтангова), сгорая от стыда, по просьбе Николая Константиновича, показывал великому артисту, как вахтанговцы это делают, и был вознагражден за все... Симонов признался, что был влюблен в «Турандот» и дважды, зайцем, хоронясь под полками вагона, мотался из Питера в Москву в начале двадцатых годов, а потом сыграл передо мной, единственным зрителем, множество сцен из вахтанговского спектакля – и столько упоения, веселого озорства было в импровизациях артиста, названного при жизни «великим русским трагиком»...

Как-то я рассказал Иннокентию Михайловичу Смоктуновскому о том, с какой неожиданной стороны открылся мне Симонов, играя-вспоминая «Турандот». И Смоктуновский, только что вернувшийся из Ленинграда, со съемок телевизионной версии «Моцарта

и Сальери», признался, что никогда не предполагал, сколько в Симонове веселья, какая бездна юмора – «о деликатности, такте, доброте уж и не говорю, это все отмечали, кто имел счастье встречаться с Николаем Константиновичем».

Смоктуновский – князь Мышкин – второе мое театральное потрясение. Не только мое, наше: все мы, кто учился и жил в Ленинграде во второй половине пятидесятых, открывали мир в себе и себя в мире с помощью Достоевского, Товстоногова и Смоктуновского. О спектакле БДТ «Идиот» написаны монбланы статей. Тонкому критику Раисе Беняш в книге «Без грима и в гриме» удалось зафиксировать «неповторимое в самом летучем и ускользающем из всех искусств – искусстве актера». Анализируя спектакль Товстоногова, она писала: «Безумие Мышкина – это у Смоктуновского заболевание справедливостью. Оказавшись перед необходимостью выбирать между собственным счастьем и справедливостью, он пожертвует счастьем. И никогда – справедливостью».

С Иннокентием Михайловичем я познакомился через Орлушу, который женился на актрисе БДТ и какое-то время жил в одной коммунальной квартире на Московском проспекте с семьей Смоктуновских. К этому времени мы уже окончили университет, разъехались по разным городам, но при первой возможности навещались в Ленинград и собирались то на Марата у Бубриха, то, по старой памяти, у Рокового на Маклина, то у Орлуши...

Трудно себе представить более непохожих людей, чем Симонов и Смоктуновский. В Симонове ничего лицедейского – он простодушен, скромен до застенчивости, нерасчетлив, размашист, широк, в нем живет, если вспомнить толстовского Федю Протасова, «не свобода, а воля», и эту волю и одиночество художника он оберегает от случайного прикосновения, от непрошеного вторжения, оберегает тем, что, уходя в себя, отмалчивается, проводит часы за мольбертом, за прогулками по набережным Невы... Смоктуновский заслоняется от словословия, бесцеремонности, невежества, всякого «сора» жизни системой тщательно продуманных уловок, уходов, уклонов, нырков. Он ценит в себе совсем не то, чем восторгаются критики, об этом мы разговариваем иногда во время встреч в Ленинграде и у него дома, на Суворовском бульваре в Москве (он пишет воспоминания, статьи для нашего журнала, и я встречаюсь с ним как редактор с автором). Он не считает себя актером-интуитивистом, чей эмоциональный аппарат от природы настроен на волну чистой, беспримесной правды, актером с поставленным от природы вкусом, актером, чувствующим фальшь кожей – тоже от природы. Его не устраивает подчеркивание – «от природы», ему не нравится, когда пишут о его гениальных прозрениях, догадках, намекая, что он сам не ведает, что творит. Однажды он сказал мне: «Знаете, кто я такой? Я трудяга, не без способностей. А истинный, от Бога, талант был Павел Луспекаев...» Гордится выстроенностью, продуманностью своих ролей, тем, что контролирует разумом даже самые невероятные по крутизне спуски в глубины психики своих героев. А как он вознегодовал, когда в рукописи книги о себе прочитал, что на войне был недотепистым интеллигентом, неуместно штатским вроде сыгранного им математика Фарбера в фильме «Солдаты». Никогда не видел его на таком градусе возмущения: «Да я вот этими руками... Да я же в разведке воевал...

Да мы же “языков” добывали... Да я все умею вот этими руками, понимаете? Зачем же меня с моих героев списывать?..»

Эту книгу написала наша общая с артистом знакомая, написала талантливо, и далеко не все доводы артиста показались мне убедительными, хотя, конечно, судить о том, каким он был на войне, ему сподручнее, чем критику – в этом у меня сомнений нет... Что до остального, жалею, что книга не увидела свет полностью. В одном из напечатанных из нее отрывков о Смоктуновском – Куликове из роммовской картины «9 дней одного года» – сказано: «Всё сплошная игра. И всё правда».

Невероятно сложная материя – душа артиста, душа, рожающая другую душу. Воистину: все сплошная игра, и все правда. Если, конечно, артист подлинный. Если не щадит себя и живет на сцене «на разрыв аорты».

Как-то в присутствии Смоктуновского гроссмейстер экстра-класса, человек среднего возраста, игравший претендентский матч с молодым соперником, пожаловался, что на пятом часу партии доска покрывается туманом и он не может заставить свой мозг работать с прежней точностью. «Странно, – качал головой гроссмейстер, – неужели преждевременная старость? Полная опустошенность, странно...» Когда гроссмейстер ушел, Смоктуновский признался:

– И у меня теперь появляется такое чувство – всё, пустой... Это естественно. Если ты уважал зрителя, любил искусство – ты все отдавал. А «актер актерычи», они, – тут Иннокентий Михайлович промурлыкал густым «фиоритурным» голосом, пародируя «актер актерычей», – долго живут, размеренно. Все-таки жить жизнью другого человека, даже на время, – страшно тяжело. Черпаешь все из одного источника (он прижал ладонь к груди. – А. С.) и понимаешь вдруг, что все исчерпал.

...В моей жизни были театральные подмостки. В школьной самодеятельности играл Землянику в «Ревизоре», Сатина в «На дне». Три сезона выходил на сцену Петрозаводского русского театра драмы в спектакле «Губернатор провинции» в роли немецкого мальчика Вальтера. Это была пьеса братьев Тур и Шейнина на современную тему, действие происходило в только что поверженной Германии, в первые месяцы после войны, нас, участников и зрителей спектакля, отделяло от этих событий каких-нибудь два-три года. На меня ходили смотреть весь наш класс и все ребята со двора, чувствовать себя премьером было сладостно, и все же я едва не бросил театр после четвертого, кажется, спектакля. Мой герой и сверстник был сыном ярого нациста, учился в гитлеровской школе, и, когда советский полковник просил Вальтера почитать какие-нибудь стихи, которые они учили в школе, он читал (надо признаться, читал он, то есть я, со всей мыслимой остервенелостью):

*Мы идем, отбивая шаг.
Пыль Европы у нас под ногами.
Ветер битвы свистит в ушах.
Кровь и ненависть, кровь и пламя!*

Полковник горестно качал головой, рассказывал Вальтеру про Гете и Гейне. Немецкий мальчик, оболваненный фашизмом, постепенно открывал совсем другой мир, начинал понимать мрак и ужас недавней жизни. На это должно было уйти время – месяцы и месяцы в реальной жизни – два действия на сцене. Но некоторые зрители четвертого спектакля не захотели ждать чудесного преображения волчонка, и стоило мне истерически выкрикнуть в лицо полковнику: «Кровь и ненависть, кровь и пламя!», как с балкона раздалась крики: «У, недобиток, Гитлер паршивый...» – и еще похлеще...

Доиграл спектакль я еле-еле, слезы душили, непроизвольно текли по моим тоном покрытым, припудренным щекам. На следующий день прямо из школы я прибежал в театр, меня трясло от обиды, я чувствовал себя опозоренным навеки, рыдал в кабинете главрежа и просил снять меня из спектакля, заменить, не выпускать больше на сцену в роли фашистика. Борис Михайлович Филиппов долго успокаивал меня, говорил: чудак-человек, такие крики означают признание, ты, стало быть, здорово вжился в образ, тебе поверили, а твоя репутация ученика четвертого «б» 9#й средней школы Петрозаводска, председателя совета отряда, вовсе не пострадала вчера, поскольку на сцене ты не петрозаводский пионер, а сын нашего злейшего врага, воспитанный врагом по образу и подобию...

Я никогда не был и не мог стать хорошим актером и рад, что удержался от соблазна (театр давал мне рекомендацию) поступать в театральный институт и связать свою жизнь

с подмостками. Во мне сидел внутренний контролер, он мешал безоглядной вере в предполагаемые обстоятельства, стреноживал воображение, фантазию, не давал растворяться в чужой жизни.

Ученые лаборатории психологии актерского творчества при Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии, проводившие экспериментальное исследование актерской одаренности, установили, что высокий рациональный контроль над своим поведением сильно мешает органичности сценической жизни и является одной из главных причин того, что способности не всегда реализуются в деятельности. Не знаю, были ли у меня какие-то актерские способности, но потребность к перевоплощению, безусловно, была. Однако проклятый контролер, постоянно разъедающая рефлексия, помноженные, как говорят ныне моя дочь и ее сотоварищи, дипломированные психологи, на высокую внутреннюю напряженность и сильную внутреннюю тревожность, развили мучительное чувство – чувство стыда самого себя, большую помеху в любом творчестве, не только сценическом.

У Акутагавы, классика японской литературы, об этом сказано убийственно точно: «Тому, кто хочет писать, стыдиться себя – преступно. В душе, где гнездится такой стыд, никогда не пробьется росток творчества». И еще сказано у Акутагавы: «Только стой крепко на ногах. Ради самого себя. Ради твоих детей. Не обольщайся собой. Но и не принижай себя. И ты воспрянешь».

Не обольщайся собой. И не принижай себя. Возможно ли, следуя этой программе, изгнать из души стыд самого себя?..

И еще один вопрос. Что делать с быстротекущей жизнью, которая становится с каждым прожитым тобой годом все серьезнее, как под грузом лет сохранить веру в подлинность игры, потребность в игре, стремление к игре и способность ей время от времени полностью отдаваться, выходить из нее освеженным и готовым к дальнейшим поискам?..

1985, 2014

Невольник чести

Артист

Борис Спасский написал эссе, опыт самоанализа «Голый король» и спрятал его в дальний ящик письменного стола. С самого начала работы над мемуарами дал себе окорот: пишу, но при жизни не печатаю.

Литературных амбиций, впрочем, у него никогда не было – ни в студенческие годы, когда мы вместе учились на отделении журналистики филологического факультета Ленинградского университета, ни позже, во времена его профессиональной карьеры, ни сейчас, когда он написал «Голого короля», когда у него в работе главы о Пауле Кересе, Михаиле Ботвиннике, Федоре Богатырчуке...

Амбиций нет. Это не значит, что нет амуниции. В состав ланных для себя, для «внутреннего употребления» характеристики очередных матчевых соперников – Михаила Таля, Виктора Корчного, Тиграна Петросяна, Роберта Фишера – он предстает не логиком-математиком, а художником-психологом, чувствующим характеры, пристрастия, слабины партнера (персонажа), ищущим, где у того створки раковины закрыты, чтобы их приоткрыть. Он артистичен, у него дар имитатора, пересмешника, он мог бы зарабатывать на жизнь на манер Ираклия Андроникова с устными рассказами с эстрады или на телевидении, если бы Бог не дал ему страшной силы шахматный талант: по авторитетному мнению Михаила Ботвинника, самые крупные природные шахматные дарования были у Капабланки и Спасского; одним из величайших природных талантов в истории шахмат назвал Спасского Гарри Каспаров.

Своим чувствовал себя Борис Спасский в артистических компаниях, взаимная симпатия связывала его с Иннокентием Смоктуновским, Юрием Никулиным, Владимиром Высоцким. Он дружил с Николаем Рыбниковым и с Анатолием Ромашиным, лучшим отечественным актером считал Евгения Евстигнеева, поклонялся Жану Габену, естественно ему, как сама жизнь, восторгался искусством Александра Вертинского, богом творил и боготворит Федора Шаляпина.

Очень жалею, что он не сыграл Остапа Бендера: кинопроба была изумительна, но рога трубили – другая игра звала; искать и отстаивать свою правду в своей игре, в своем искусстве стало делом его жизни.

Игра и правда в жизни подлинного артиста – и на театральных подмостках, и на экране, и на шахматной сцене – перемешаны в одном, адской крепости, составе. Игра и правда не могут не быть перемешаны в настоящем искусстве. Но нельзя – смертельно опасно – спутать игру и жизнь, отождествить их – это кончается печально, как окончилась жизнь Набоковского Лужина: «и в тот миг, что Лужин разжал руки, в тот миг, что хлынул в рот стремительный ледяной воздух, он увидел, какая именно вечность угодила во и неумолимо раскинулась перед ним».

Разбив стулом оконное стекло, гениальный шахматист бросился в черную звездообразную дыру. Как пишет Набоков: выпал из игры, для него это был единственный выход.

Выпадают из игры – не в романах, в жизни – по-разному. Сходят с ума во время партии. Лагут по утрам, едва проснувшись, на висящий на стене фотопортрет соперника в предстоящем матче за мировую корону. Запивают по-черному, колются, ширяются. Уходят в политику. Стареют...

Запасных выходов много. А игра – одна. Как и жизнь. И если их перепутаешь, отождествишь, тогда вместо вечности как победы над смертью тебя ждет неумолимая вечность-пустота, что встретила в последнем полете Лужина.

Не в старости дело

Никто не знает, пускаясь на дебют, как придется расплачиваться за все эти игры в бисер, за шалости детского возбужденного ума, за насилие над мозгом, своим и парт нера, над душой.

Не знал этого, естественно, и девятилетний Боря Спасский, когда летом сорок ше стого года приехал на Крестовский остров Ленинграда, в шахматный павильон ЦПКиО и часами, не отрываясь, следил за партиями отощавших после блокады любителей.

В пять лет, в эвакуации, в детском доме чуть не выпал – не из игры, из жизни. Умирал от голода, дистрофии последней стадии. Потом, уже став чемпионом мира, обнаружит, что начинает – вдруг, неожиданно – в ответственных партиях выпадать из игры: фигуры на доске покрываются туманом, голова отказывается считать.

«Собачья старость, – будет ругать его Фатер, как звал Боря своего тренера грос смейстера Игоря Захаровича Бондаревского, – возьми себя в руки, не шлейся по ночам, больше работай».

Старость – в тридцать три года?! Нет, Фатер, не в старости дело: психическая энергия утекает из сосуда, обожженного войной, через дырочки, пробитые голодом, холо дом, лишениями – демографы и психологи называют это когортной болезнью поколения (когорты), появившегося на свет в промежутке между 1930 и 1944 годами.

Война с врагом. Война с народом. Он родился в самый пик большого террора – в 1937#м. До поры был таким же слепым кутенком, как и все мы, когорта, зараженная немощью страха, лжи и бессилия.

Когда могильную плиту чуть сдвинули с нашей общей ямы, от когортных болезней каждый избавлялся на свой салтык. В одиночку. Это заболевают когортой, а исцеляются поодиночке, коллективного прозрения не бывает, только индивидуальное.

Из всех нас, своих студенческих друзей, из советских спортсменов большого ка либра он первым начал бодаться с дубом.

Колокольчик, дар Валдая, дар Божий, может греметь, как ботало на коровьей шее. Сам от горшка два вершка, только записался в шахматную секцию Ленинградского двор ца пионеров, а уже, прибавив какого-нибудь шкета стар ше себя на три-четыре года, такой звон поднимает – со святыми упокой: «Пижон! Сапог! Играть не умеешь...» А прибьют его – сразу в рев. Едва слезы высохнут, снова звонит: «Салаги! Шмокодявки! Играть не умеете...»

Поколачивали звонаря, щелбанов давали, за нос таскали – не унимался. Окрести ли Борю «малой сволочью», о чем он в разные годы своей жизни вспоминал почему-то с превеликим удовольствием.

Кстати, у него не было бы многих неприятностей в жизни, если бы он из «малой сволочи» стал «большой», а не носился бы, как с писаной торбой, со своими понятиями о чести, совести, справедливости, слове джентльмена и прочих добродетелях, украша ющих завсегдатаев Пиквикского клуба, а не дубасящих друг друга по голове мастеров интеллектуального бокса.

Игра при свете совести

В матче 1972 года в Рейкьявике Спасский боролся со спортивным начальством, требующим прекратить игру, чтобы сохранить корону за Советским Союзом. Накануне тре-

твей партии чемпиону мира позвонил из Москвы председатель Спорткомитета СССР Павлов и сказал:

«Борис Васильевич, вы должны предъявить ультиматум», на что Спасский ответил: «Сергей Павлович, я буду играть матч» – обмен этими репликами продолжался полчаса, после чего Борис лежал в номере три часа. Тогда говорил: «Меня трясло». Сейчас, посмеиваясь: «Отдыхал».

Перед звонком Павлова Спасский вел в счете 2:0, причем за победу во второй партии очко ему было начислено без игры из-за неявки соперника, американца Роберта Фишера. Тогда же, в 72#м, я позвонил Михаилу Талю и спросил, что Миша сейчас сделал бы, и услышал: «Я не пришел бы на третью партию – подарков (речь шла о втором очке. – А. С.) не принимаем. И Ботвинник не пришел бы, и Петросян, и любой другой гроссмейстер. Это единственный выход из положения, но только не для Спасского. Боря ведь у нас невольник чести...»

Неужели опытнейшему матчевому бойцу, прожженному игроку Спасскому не пришла в голову эта идея? Спрашиваю его об этом через четверть века после Рейкьявика...

– Мне пришлось в голову сдать третью партию, как только Бобби в моем присутствии начал скандалить с главным арбитром матча Лотаром Шмитом, жалуюсь на шум телевизионной камеры. Но я был связан словом, которое дал Фишеру, – играть эту партию, играть в специальном помещении, без публики.

Фишер воевал в Рейкьявике со своими ветряными мельницами, Спасский – со своими.

Игру при свете совести обычно не рассматривают. Царство чистой игры и мир справедливости и милосердия в обыденном сознании не соприкасаются. Но творящий игру (искусство) воспринимает ее в высшей степени ответственно. У него, как и у ребенка, писала Марина Цветаева в статье «Искусство при свете совести», безответственность во всем, кроме игры. «То, что вам – “игра”, нам – единственный серьез. Серьезнее и умирать не будем».

Ставший королем справедливой игры (шахматы для Спасского прежде всего справедливая игра), он чувствовал колоссальную личную ответственность за все происходящее в этой вселенской, без государственных границ монархии и невозможность нарушать ее писанные и неписанные законы. Для государственных чиновников одно было важно – любой ценой оставить корону, принадлежащую Советскому Союзу, в стране ее постоянной прописки. Для него – сыграть матч с самым сильным противником, ибо принадлежавшая ему и шахматному миру корона не могла быть предметом торга и закулисных дипломатических игр и должна была быть оспорена только в честной борьбе.

Невольник чести, он спас тогда матч в Рейкьявике вопреки всему – партнеру, собственному руководству, личным, если понимать их эгоистически-прагматически, интересам. Спас матч и достоинство справедливой игры.

Догадал его черт родиться в России с умом и талантом, который не может быть реализован иначе как в ожесточенной конкуренции, в борьбе с ее неизбежным спутником – подавлением личности, принуждением, насилием одного интеллекта над другим.

Шаховский Пушкин

Ему, ласковому теляти, двух, а то и поболее маток сосать и мирно пастись бы на зеленом лугу, резвясь и играя, радуясь жизни, а его для корриды приспособили, наделив великим шахматным даром.

– Помнишь, как провожали у Хемингуэя тореадора на пенсию? – спросил меня как-то Спасский. – Приготовили ему подарок под огромным покрывалом. Снимают покрывало,

и на тореро смотрит голова разъяренного быка. Он смертельно побледнел, и стало ясно, что всю жизнь он быков этих страшно боялся, но сражался и побеждал.

Недавно, встретившись с Александром Исаевичем Солженицыным, Спасский пре поднес ему в дар шахматную книгу с надписью: «От благодарного бодателя дуба». В годы идеологической травли Солженицына десятый шахматный чемпион мира пользовался любой возможностью – будь то партийно-хозяйственный актив Ново сибирской области, или встреча с шахтерами в одном из городов Донбасса, или лекция для ученых Дубны – чтобы рассказать об одном из своих любимых русских писателей Солженицыне, о его взглядах на историю России...

Надо ли говорить, что ни при каких обстоятельствах Спасский не подписывал коллективных писем-обличений.

Никогда не слышал от антикоммуниста Спасского, что он готов взойти на костер или плаху за свои убеждения. А вот защищая близкого ему по духу человека, готов был, по собственному признанию, и на плаху, как в 68#м, когда наши шахматные вожди готовились расправиться с Паулем Кересом за моральную поддержку чешского гроссмейстера Людека Пахмана после советской оккупации Чехословакии. Спасский, далекий от дворцовых интриг, вынужден был поучаствовать в снятии с поста главы советских шахмат Серова, намеревавшегося сурово наказать Кереса.

Пушкин определяет игрока как человека, у которого нет никаких нравственных правил и ничего святого. (Желающие могут проверить по «Пиковой даме», эпиграф к четвертой главе.) Профессиональный игрок с одиннадцати лет (именно в этом возрасте государство положило стипендию мальчику редкого таланта, и он стал главным кормильцем семьи, состоявшей из мамы Екатерины Петровны, старшего брата Жоры и младшей сестры Иры), попытавшийся, став чемпионом мира, создать первый у нас в стране шахматный профсоюз (из этой затеи ничего не вышло), считавший своим долгом защищать и защищавший всех, кого преследовали власти – и Кереса, и Корчного, и Геллера, и Пахмана, полагавший долгом шахматного короля объединять людей разных рас, убеждений, вероисповеданий и даже страны с разными политическими системами, Борис Спасский, внук и правнук русских священников, не мог заставить себя быть лояльным к своей стране, попиравшей нравственные правила и установления. Это создавало страшное душевное нестроение, порождало сильный внутренний разлад. Вот почему три года своего чемпионства – с 1969#го по 1972#й – он называет самыми горестными в жизни. Вот почему считает себя как шахматного монарха несчастной фигурой – «голым королем».

Голый король? Я назвал бы его стеклянным королем.

У американцев есть такое выражение – «стеклянный парень», его применяли перед Рейкьявиком к Роберту Фишеру – хрупкому, казалось, как стекло, впечатлительному, неуравновешенному в отличие от Бориса Спасского, представавшего образцом выдержки, спокойствия, корректности, доброжелательности, универсальная игра которого была прежде всего гармонична – недаром сербы называли его «шаховский Пушкин».

Невольник чести, раб своей репутации спортивного джентльмена, человек, всегда живший так, как хочется, но знавший, что жить надо так, как Бог велит, шахматный монарх, чувствовавший огромную ответственность перед шахматным миром, но отдающий себе отчет, что как пастырь-администратор стоит исключительно низко. Одиночка, всегда державшийся вне групп, коллективов, партий, не вписавшийся ни в советскую систему, пока жил здесь, ни в западную, когда стал жить там. Стеклянный король, прозрачный в своих побуждениях и замыслах – не в шахматах, в жизни.

Охраняемый до поры щитом своего звания, Спасский объявил в 1974 году открытую войну Спорткомитету СССР. Сказав, что защищает от нападок Корчного, ставшего в ту пору «невозвращенцем», Спасский сжег за собой все мосты. Возможности сбежать, играя на

каком-то турнире, он для себя исключал. Есть вещи непозволительные для шахматного короля, невольника чести по определению. Неизвестно, чем бы кончилась двухлетняя война стеклянного короля и «железных ребят» из главного спортивного ведомства, направляемых и страхуемых нашими, по его выражению, любознательными организациями, если бы король не встретил новую королеву, гражданку Франции Марину Щербачеву. Из дома он ушел в августе 74#го. С Мариной, сотрудницей коммерческой службы французского посольства в СССР, познакомился в ноябре того же года, в сентябре 75#го они поженились, в сентябре 76#го уехали во Францию.

– Переехав на Запад и обретя профессиональную независимость, я, возможно, показал и всем остальным шахматистам, спортсменам Союза, как надо бороться за свою профессиональную независимость. Лет через шесть-семь многие стали так поступать.

Медонский затворник

Тринадцатый в истории шахматный король Гарри Каспаров высоко оценил борьбу Спасского за свою независимость: «Независимое поведение Спасского продемонстрировало растущую взаимную неприязнь между гниющим режимом и новым поколением, выросшим в постсталинскую эпоху. Но в отличие от многих знаменитых совграждан Спасский никогда не пользовался возможностью нажить себе политический капитал, эксплуатируя собственную известность. Он просто выиграл борьбу за свою свободу, уехав, благодаря женитьбе, во Францию».

Двадцать восьмой год гражданин Франции и России, десятый в истории шахматный король живет в Медоне, одном из ближайших парижских предместий. У них с Мариной сын, при рождении ему дали имя Борис-Александр-Жорж, при крещении он стал Бори сом, ему двадцать два, учится на юриста, по словам отца, пан спортсмен, обожает теннис и катание на доске на океанской волне. В шахматы не играет, как и сын Спасского от вто рого брака Василий и дочь Татьяна от первого брака, живущие в Санкт-Петербурге.

Сам король от активных шахмат отошел, ведет, по его словам, размеренную жизнь шахматного ремесленника: дает сеансы в разных городах мира, консультирует молодых мастеров и гроссмейстеров – в сорока пяти километрах от Гренобля построил дом с большой шахматной библиотекой, компьютерами, словом, всем необходимым для

тренировочных сборов. Тренером себя не считает, но это дело любит, в разное время работал с Каспаровым, Корчным, Шортом, Хьюбнером, Балашовым. Пожалуй, над шахматами работает даже больше, чем в шестидесятые, когда играл сильнее всех в мире.

«Героем социалистического труда», а потом капиталистического, как Спасский на звал своего земляка Виктора Корчного, сам Борис никогда не был. Тренеры поругивали его за то, что мало работал, он соглашался и не соглашался с этим: с одной стороны, тренеры правы, он никогда не сидел, как конторский служащий, за доской от девяти до восемнадцати, с другой – он знал за собой умение неслыханно концентрироваться за доской во время партии – «после пяти часов игры я труп». Шахматы приносили ему не только радость творческой гармонии, но и мучили, жгли, опустошали, выворачивали наизнанку, убивали...

Он счастлив, что больше никогда не вернутся часы, дни, месяцы, годы дико го перенапряжения. Оно ушло из жизни стеклянного короля, не для борьбы и насилия рожденного. Его дни наполнены чтением, музыкой (у него большая кол лекция записей итальянских и русских оперных певцов), теннисом, шахматными исследованиями, работой над мемуарами...

Пятнадцать лет он не был в России, но, как писала квартировавшая за несколько десятилетий до Спасского в Медоне Марина Цветаева: «Не быть в России, забыть Рос сию –

может бояться лишь тот, кто Россию мыслит вне себя. В ком она внутри, – тот потеряет ее лишь вместе с жизнью».

13 апреля 1997 года медонский затворник (изгнанник) прилетел на родину, в Санкт-Петербург по приглашению местных властей и шахматной федерации Северной столицы в качестве почетного гостя супертурнира гроссмейстеров, посвященного семидесятому чемпионату города по шахматам.

Скованные одной цепью

Через два года, весной 1999#го, он сыграл в казино «Конти» матч с Виктором Корчным. К отстаиванию своей правды в искусстве этот матч отношения уже не имел, деньги (небольшие) особой роли тоже не играли – просто скованные одной цепью два ленинградца-петербуржца, из одного гнезда выпорхнувшие (Дворец пионеров, Университет), друг другу немало крови попортившие, семь лет не

здоровавшиеся, живущие вдали от исторической родины, от родного города, на глазах земляков, почитателей их талантов, совершили своего рода акт примирения, возблагодарив своей игрой тех, кто их не забыл.

Все мы, сошедшиеся в этом городе волею судеб, пожизненно скованы одной цепью, не только гроссмейстеры из «дома, именуемого глаголом ЛГУ» (ЛГУ – Ленинградский государственный университет). И в свой университетско-лицейский день, в свое 19 октября, собираемся, чтобы удостовериться в непреложности пушкинского закона дружества.

В декабре 1998#го мы встретились в бане на Зимнем стадионе, где будущий шахматный король еще школьником брал 180-сантиметровую высоту.

Тогда мы с Александром Шарымовым, учившимся с Борисом в одной студенческой группе, читали «19 октября», написанное Пушкиным в 1825#м: «Куда бы нас ни бросила судьбина / И счастье куда б ни повело. / Всё те же мы: нам целый мир чужбина; / Отечество нам Царское Село».

Пировали и, сердцем возгоря, как у первого лицеиста сказано, до дна выпивали чаши в честь нашего союза. Шахматный Пушкин был весел, а когда мы помянули ушедших друзей, опечалился: «Меня вот занимает, кому же из нас под старость день лица, как у Александра Сергеевича сказано, торжествовать придется одному?..»

Увы, наш круг час от часу редет. Из тех, кто был в тот декабрьский день 1998#го на Зимнем, нет уже четверых – Александра Шарымова, Владимира Аллоя, Александра Житинского, Александра Анейчика.

Перенапряжение от интеллектуального бокса сказалось и на шахматном чемпионе. В 2010#м в столице России его разбил инсульт. Сначала Борис лежал в московской клинике, потом за ним приехал из Франции Спасский-младший и перевез отца в парижский госпиталь, где он провел более года. Я звонил ему 30 января 2012#го в Медон, поздравлял с семидесятипятилетием, и в этом году, в день его рождения, в Москву, где он продолжает лечение.

Мы долго говорили. В основном о друзьях – ушедших и оставшихся. Я вспомнил «Песню о моем друге» Владимира Уфлянда из так называемой филологической школы – сообщества поэтов, сложившегося вокруг университетского филфака: «Друг в добром здравьи – нет прекрасней зрелища. Нет чувств превыше дружбы и любви. Нет хуже зла, чем вечное безденежье, хоть и добра не купишь за рубли».

Прекрасные стихи и, между прочим, пророческие. Борис согласился и на прощание сказал:

– Как только приеду в Питер, дам знать. Хорошо поговорили. Спасибо тебе. Будем на связи.

Неисповедим не только промысел Божий, но и судьба человека непостижима.

В сорок седьмом на слете пионеров Ленинграда в канун тридцатилетия Октября, зачитывая с трибуны Таврического дворца приветствие городу революции от юных ленинцев Карело-Финской республики (мне поставили скамеечку, чтобы одиннадцатилетнего пионера из Петрозаводска было видно всему историческому залу), я и предположить не мог, что на следующий день после Таврического увижу красивейший Аничков дворец, Ленинградский дворец пионеров, где, помимо мрамора и малахита, нас, гостей из Москвы и республик Северо-Запада СССР, поразило обилие всевозможных кружков. С шахматным нас познакомил Владимир Григорьевич Зак, тот самый, что высмотрел Борю в ЦПКиО в сорок шестом, а в сорок седьмом, когда я увидел впервые будущего шахматного короля, он уже был кандидатом в мастера, как юное дарование получал от государства стипендию, став в одиннадцать лет вместе с матерью основным кормильцем семьи.

Мог ли кто-нибудь предугадать, что через семь лет после первой, детской, встречи на набережной Фонтанки судьба сведет нас на Университетской набережной, на филфаке ЛГУ?..

А кто, скажите, мог представить, что на излете своей карьеры практикующего шахматиста шахматный ветеран Борис Васильевич Спасский обретет себя в новом качестве – учителя, с удовольствием занимающегося с ребятами?..

Вот и Новый, 2014 год он встретил вместе с учениками детско-юношеской шахматной школы на Южном Урале, в небольшом городе Сатка, в 250 километрах от Челябинска. Я знал, что чемпион давно занимается шахматной педагогикой, что под его попечением в разное время находились юные шахматисты и на Западе и в России, но думал, что после удара, какой он получил от судьбы, ему теперь не до общественного призрения, самому бы выкарабкаться...

Накануне дня рождения Бориса позвонила его младшая сестра Ираида, «стойкий оловянный солдатик», как она аттестовала себя в «Университете Олимпийском», отвечая на вопросы анкеты составителей этой книги. Выпускница исторического факультета университета, четырехкратная чемпионка СССР по русским шашкам, серебряный призер чемпионата мира по стоклеточным шашкам, трогательно заботится о своем знаменитом брате, иначе как братиком его не называет. Ира и поведала мне о вояже Бориса Васильевича на Урал; в советские времена выступавший за общество «Локомотив», он совершил это путешествие на поезде и несколько дней пробыл там, занимаясь со своими подопечными из подшефной школы.

– Не несколько дней, а четыре недели, – поправил сестру любящий точность Борис, поблагодарив меня за поздравления с днем рождения. – Я там бываю регулярно – и летом, и зимой. Пропустил только год, что лежал после инсульта в парижской больнице. Если надумаешь написать об этом, непременно отметить руководителей крупного предприятия «Магnezит», помогающего и нашей шахматной школе и мне. Замечательные люди, я им очень признателен.

Спросил меня:

– Не болеешь?.. Работаете? Это правильно. А что пишете?

– Закончил большую книгу, называется «Единственная игра». Весной выйдет из печати. На Зимнем стадионе в двадцатых числах мая состоится Петербургский международный книжный салон, где ее и можно будет приобрести.

– Хорошая новость. Очень хочу приехать в мае в Питер и повидаться со всеми вами.

– Приезжай, Боря. Мы всегда рады тебе.

2000, 2013, 2014

Воспоминания о литве

1. Два раунда с Шоцикасом

*Однажды на балтийском берегу,
Когда волна негромко набегала,
Привиделся мне образ Ганнибала.
Я от него забыться не могу.
Все это правда и подобье сна,
И мой возврат в иные времена.*

Давид Самойлов

Оба улыбались мне – и рефери и противник. В улыбке рефери сквозило сочувствие, противник улыбался обещающе. Ничего хорошего, правда, его ухмылка не обещала. «Остерегайся его левой, – горячо нашептывал мне в самое ухо секундант. – По мнишь, как он приварил Королеву?»

Советы секунданта раздражали меня. Нашел, что перед боем вспомнить. И кто он вообще, этот секундант? Рефери знаю – Владимир Енгибарян, великий боксер, мы стонали от удовольствия, когда он плыл на ринге в танце с саблями, не поднимая сабельных рук для защиты, заманивая и дразня соперников. И противника знаю – Альгирдас Шоцикас, великий боксер, его поединки с легендарным Николаем Королевым вошли в историю.

Сейчас мне отольется за все – проносится в голове, за крытой от ударов Шоцикаса. По ка закрытой, еще закрытой. Надолго ли? Гоню прочь позорные мысли. В конце концов от куда он может знать, что я всегда болел за Королеву и, значит, против него, Шоцикаса? Но нет, он откуда-то знает – кулак величиной с две пивные кружки нацелен мне в голову.

От страха я начал творить нечто невообразимое – опустил вдруг перчатки, как Енгибарян, и когда Шоцикас ударил, лениво так – боковым правой, я нырнул ему под руку и сам провел серию по корпусу и отскочил метра на три, убоявшись собственной наглости. Рефери внимательно посмотрел на меня и заговорщицки подмигнул – не тушуйся, мол, в случае чего я прерву бой – рассечена бровь или еще что-нибудь, до худшего не допущу...

«Молодец, – прохрипел в перерыве секундант, обмахивая меня мокрым полотенцем. – Разрывай дистанцию, серия по корпусу и уходи. Только смотри, чтобы на отходе он не приварил левой, как Королеву...»

Едва раздался гонг, Шоцикас уже был в моем углу ринга. Больше он не улыбался и смотрел как-то странно, поверх меня, куда-то под своды каунасского спортгале, поддерживающего его яростным ревом. С отчаянием обреченного я бросился ему навстречу, показал, что буду бить левой, а сам вложился весь в прямой правой, целясь в его аккуратно выбритый подбородок...

Небо раскололось, сверкнула молния, ударил гром. Шоцикас опередил меня...

– Откуда он взялся на твою голову, Алик? – услышал я в полузабытьи голос Енгибаряна.

– Из Ленинграда, от Гены. Тот прислал с ним письмо, про сил помочь, я поинтересовался, чем могу служить, а он одно за ладил: «Хочу спарринг с Шоцикасом, чтобы было потом о чем вспомнить. И чтоб в спортгале, и чтоб рефери в ринге был Енгибарян...» Я не стал бы связываться, да Шатков просил.

«Неправда! – хотел крикнуть я. – Никакого спарринга я не хотел, я самоубийца что ли, вы сами мне проверочку устроили». Но не мог вымолвить ни слова: во рту пересохло, мучительно хотелось пить.

Шоцикас положил меня на диван в медпункте и сказал врачу: «Ничего страшного, оклемается, я же ударил вполсилы...» Врач поднес мне к носу ватку с нашатырем, я дернул головой и... проснулся.

В раскрытое окно каунасской гостиницы «Балтия» вет ер забрасывал пригоршни дождя. Весело погромыхивал июльский гром. Над холмом, где стадион «Жальгирис» и спортгале, прямыми и боковыми ударами, сериями и одиночными били молнии. Били молниеносно, как когда-то и как только что в моем ужасном сне Альгирдас Шоцикас.

При всей своей фантастично стисны творятся подсознанием из вполне реальных вещей, из того, что мы пережили, испытали, только все это в странной комбинации, без ука-зующего перста воли, сознания. И в этом сне все соткано из последних двух недель моей жизни плюс тридцати с лишним предшествующих лет. Все было – и письмо Геннадия Шаткова, реко мендующее меня Альгирдасу Шоцикасу, и десятки боев на ринге спортгале, за которыми мы наблюдали с Шоцикасом, и элегантнейший, весь в белом, как и положено рефери, рас полневший, но не утративший пластики пантеры Владимир Енгибарян, и двор наш в после военном Петрозаводске, болевший за Королева, и даже уже самое невероятное – вчера мы с Аликом, как называет его Шатков, с монументально-легким Аликом (бывают такие сильные и высокие люди – ноги, как ко лонны, руки кованые, но они быстры и совсем не тяжеловесны даже в самом тяжелом весе) часа полтора играли вместе – в спортивном зале.

Вчера, в пятницу вечером, Шоцикас заехал за мной в гостиницу и повез в яхт-клуб на берегу Каунасского моря – искусственного водохранилища. Всю неделю мы были заняты на Всесоюзной школьной спартакиаде – я мотался между Вильнюсом и Каунасом, руководитель комплексной научной группы юношеской сборной Литвы по боксу, доцент Каунасского института физкультуры Шоцикас неотлучно находился на турнире боксеров. Завтра нас ждали финальные бои, а сего дня, решил Шоцикас, мы заслужили хорошую баню.

Попасть в нее оказалось не просто.

– Не хотите ли размяться? – лукаво предложил гостеприимный хозяин. Вообще-то хозяином был не Шоцикас, а Семен Семенович Токер, председатель Каунасского городского совета общества «Жальгирис», но знаменитый боксер чувствовал себя здесь так же вольготно, как когда-то на ринге. У другого, столь же знаменитого и почитаемого в своем краю человека чувство хозяина положения вы глядело бы неприятным, подчеркивало бы для окружающих завоеванное им право выделяться, но у Шоцикаса оно шло не от сознания своей исключительности, а от деревенской закваски, унаследованной от предков, от обстоятельности натуры, естественной в каждом своем про явлении.

– Так что – пошевелимся немного?

Спина болит, старая травма позвоночника, формы нет – никакие мои отговорки всерьез не принимались.

– Посмотрим, что умеют ленинградские журналисты – толь ко интервью брать у занятых людей или...

Это был вызов. Не принять его было нельзя.

Мы поднялись на второй этаж, в просторный спортивный зал.

В первом «раунде» игра ли в футбол – ветераны против молодых. Молодых возглавлял Гинтас Шоцикас, сын; нас, ветера нов – его отец.

Когда я более-менее серьезно занимался спортом, мне приходилось на тренировках иногда играть с боксерами. В одной команде с ними – ку да ни шло, хотя техникой ни в футболе, ни в баскетболе они не блистали. Но как-то мне выпало опекать чемпиона страны в полутяжелом весе, моего карельского земляка Николая Разумова. Я сам не легковес и вроде бы прочно стою на но гах, но стоило Коле

получить мяч и ворваться в трехсекундную зону, я отлетал от него, как мячик – теннисный, не баскетбольный. Шоцикас и с мячом, и с противниками обращался деликатно, разве что сына, когда тот лез напролом, встречал корпусом, отчего тот кривил губы и по-литовски говорил отцу сердитые слова.

Подвижность и техничность пятидесятитрехлетнего капитана позволили нам забить десять го лов, на что молодые ответили шестнадцатью. «Старость не радость», – сказал кто-то из ветеранов, в изнеможении опускаясь на скамейку, но Шоцикас-отец азартно крикнул: «Реванш!», и мы, сменив белый шар на оранжевый, начали сражаться в баскетбол. На родине Бутаутаса, Петкявичюса, Стонкуса, Паулаускаса, Сабониса (его звезда взошла как раз на школьной спартакиаде в родной Литве) все уме ют забрасывать в корзину по хожий на большой апельсин мяч – и молодые и ветераны. Знаменитая левая двукратного чем пиона Европы, многократного чемпиона СССР по боксу работала без роздыху, укладывая один за другим мячи в корзину. Я подносил снаряды, а при случае и сам стрелял, за что удостоился похвалы капитана: «Да ты игровой парень!»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.